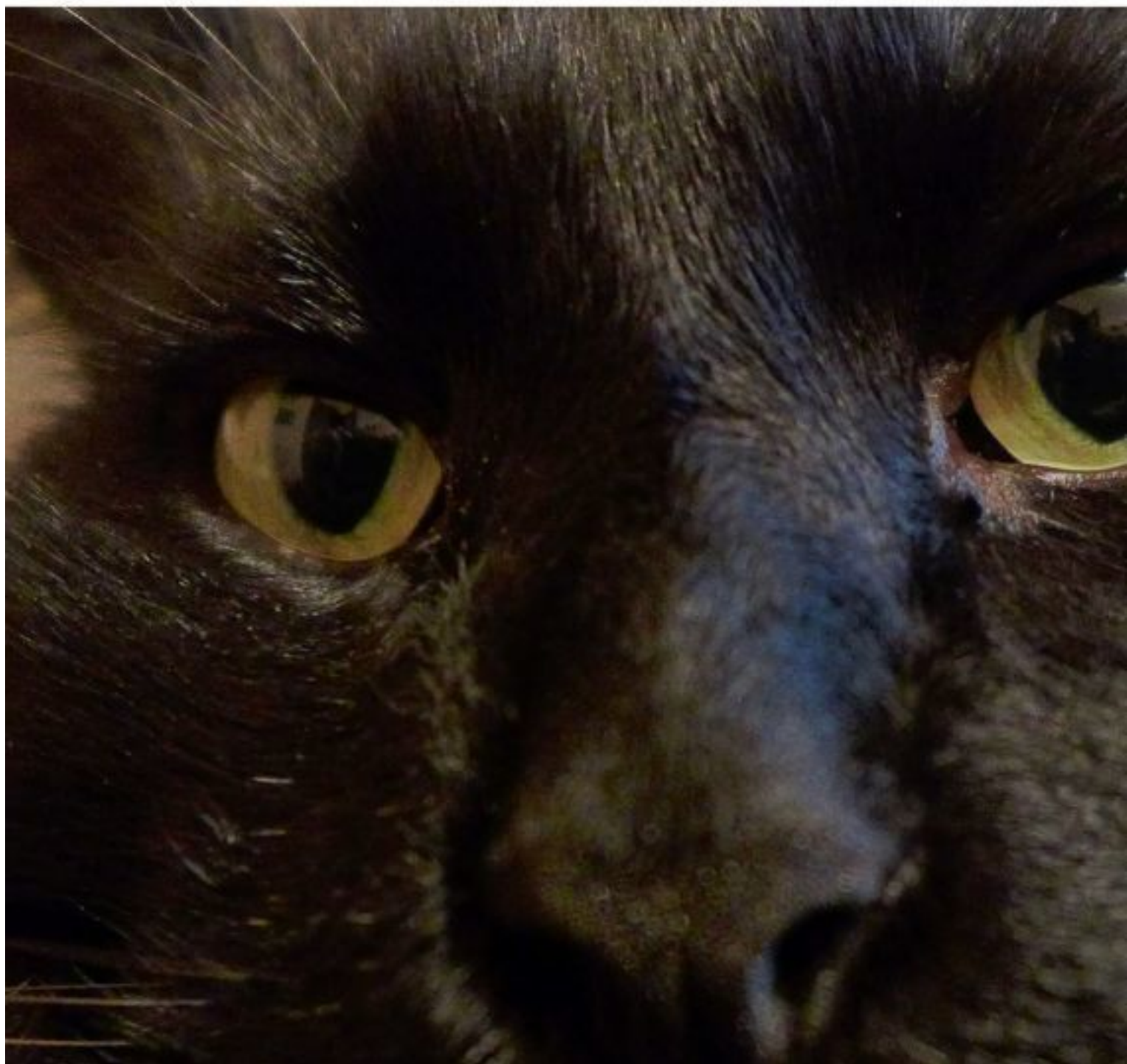


Алексей К. Смирнов
Замкнутое пространство

Условная фантастическая трилогия



Алексей Смирнов

**Замкнутое
пространство. Условная
фантастическая трилогия**

«Издательские решения»

Смирнов А. К.

Замкнутое пространство. Условная фантастическая трилогия /
А. К. Смирнов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-740509-0

В книгу вошли три фантастические повести, общность которых предположена в третьей — «Пограничная крепость». Первая, «Сибирский послушник», рассказывает о необычном интернате в сибирской глуши. Вторая, «Лето никогда» — об альтернативно-историческом лагере скаутов. В «Пограничной крепости» появляются сновидец Будтов и его Кот.

ISBN 978-5-44-740509-0

© Смирнов А. К.
© Издательские решения

Содержание

Сибирский послушник	6
Часть первая. Резервисты	6
Часть вторая. Имею честь	48
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Замкнутое пространство Условная фантастическая трилогия

Алексей Константинович Смирнов

Фотограф Евгений Горный

© Алексей Константинович Смирнов, 2017

© Евгений Горный, фотографии, 2017

ISBN 978-5-4474-0509-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Сибирский послушник

Михалковым: Отцу, Сыну и Третьему, что меж ними

Часть первая. Резервисты

1

– Un, deux, trois, il ne chantera pas; quatre, cinq, six, buvons du cassis. Il m’a dit qu’elle était partie, et m’a demande si je le savais. Je lui ai repondu qu’un jour de canicule dans le Bois de Vincennes elle reviendrait peut-etre avec un autre vagabond aux yeux bleus et mandibule carree. Tu es si beau dans ton manteau que je fremis, puis rougis. Tu n’as rien vu, tu n’as rien su. Je suis assis dans mon logis. Je voulais que tu susses cette nouvelle sur elle.¹

Так передразнивал Швейцер отца Таврикия, который десять минут назад покончил с французским языком и перешел к точным наукам. Склонившись над тетрадью, Швейцер улыбался себе под нос и еле слышно, к большому удовольствию соседа по парте, бубнил бессмысленный монолог, изоощряясь в изящной словесности. Его прозвали Куколкой, так как все в нем было точеное и ладное: точеное лицо, то есть скулы и нос, точеная шея, точеный стан. Он мог бы сойти за танцора из старинных часов с завитушками и музыкой.

Швейцера ужалили пером.

Перо было настоящее, гусиное. Считалось, что старинные письменные принадлежности развивают в воспитанниках прилежание – и не только его. Одно дело – бездумно ударить по клавише, совсем другое – самостоятельно вывести каждую черточку и штрих. Доктор Мамонтов утверждал, что письмо пером формирует дополнительные связи между пальцами и мозговой корой, а мелкие движения вообще развивают умственные способности.

Швейцер сложил ладонь лодочкой и, не глядя, завел руку за спину. В ладонь упал бумажный шарик; Швейцер быстро прикрыл его тетрадью и преданно посмотрел на отца Таврикия. Тот ничего не видел и монотонно продолжал урок, излагая основы тригонометрии.

Сидевший рядом Остудин – въедливый тип с лошадиным лицом – присмотрелся и толкнул Швейцера локтем.

– Что там у вас, Куколка? – спросил он шепотом.

– Обождите, сейчас разверну.

То и дело поглядывая на учителя, Швейцер двумя пальцами размял бумажку. Потом приподнял тетрадь и прочитал записку. Там были всего два слова: «В полночь».

– Ну, что?

– Не суйтесь, Остудин, это личное.

Сосед по парте пренебрежительно хмыкнул и отвернулся. Делая вид, будто содержание записки ему ничуть не интересно, он поправил сюртук, смахнул подозрительную пылинку, переложил тетради и книги. Но в конце концов не выдержал:

– Подумаешь! Я и без вас знаю, о чем там сказано. И кто написал.

¹ Раз, два, три – он шантрапа; четыре, пять, шесть – выпьем смородиновки. Он мне сказал, что она уехала, и спросил, известно ли мне об этом. Я ответил ему, что однажды, в знойный день, она, быть может, вернется с другим бродягой – голу-боглазым и с квадратной челюстью. Ты так красив в своем пальто, что я, дрожа, краснею. Ты ничего не замечаешь – я ж в доме у себя один (*франц.*).

– Знаете – так помалкивайте, – буркнул Швейцер. Ему стало неудобно, потому что Остудин не был посвященным и знать ничего не мог. А если он все-таки знает, то знать может кто угодно.

Через минуту, не в силах вынести неопределенность, Швейцер смягчился:

– Кто же вам сообщил? – спросил он, не поворачивая головы.

– Кох, – мгновенно отозвался Остудин, которому тоже не хотелось молчать. Он не искал ссоры – напротив, всячески выказывал заботу об общей пользе.

«Значит, правда», – подумал Швейцер и обернулся, ища глазами предателя. Дородный Кох, у которого даже юношеские прыщи были налиты преизбыточным здоровьем, ни о чем не подозревал и сосредоточенно выводил синусы и тангенсы.

– Успокойтесь, Куколка, – прошептал Остудин. – Он не умышленно. Я случайно застиг его за приготовлением смеси.

– Остудин, чем вы заняты? – послышался голос отца Таврикия.

Учитель, сверкая очками, стоял лицом к классу и пристально смотрел на обоих.

– О чем вы сейчас говорили с вашим товарищем?

– Ни о чем, господин учитель... – Остудин встал и вытянул руки по швам.

Таврикий приблизился, коснулся указкой учебников и тетрадей, поворошил. Очевидной крамолы не было, и он сделал шаг назад, наступая на рясу, которая была ему не по росту. Учитель был невысок и мало следил за собой, все больше за другими. Он имел странную манеру отставлять при ходьбе правую руку, пальцы которой были вечно испачканы чернилами. Швейцеру они иногда снились.

– Итак, мы выбрали пи-квадрат, – заявил он с сомнением, вспоминая, о чем говорил до того.

Ряса зашуршала по полу, отец Таврикий пошел к доске. Мелок в его руке выглядел угрожающе, словно учитель собирался им что-то прижечь.

Швейцер, глядя прямо перед собой, пробормотал одними губами:

– Молчите. Вы ставите нас под удар.

– Слово чести, – выдохнул Остудин и обмакнул перо. От волнения он промахнулся мимо чернильницы.

Сосед негодуя вздохнул.

Кох тем временем спокойно царапал в своей тетради. С этим болтуном связались только потому, что ему не было равных в химии. И в сплетнях, если не считать Остудина, но тот человек вообще конченный. Остудин сказал, что застал его за приготовлением смеси: слово «смесь» означало, что Кох, пойманный на месте преступления, мгновенно признался во всем. Возможно, даже не будучи спрошен. Причем тут возможно – наверняка! Мало ли что он стряпал.

– Швейцер! – У отца Таврикия еще оставались смутные подозрения. – Ступайте к доске! Изобразите то, что я сейчас объяснил, в графическом виде.

Швейцер поклонился и взял мел.

Уверенными, размашистыми штрихами он начертил оси координат. Таврикий, довольный его движениями, стоял за спиной и молча смотрел, как доска покрывается кривыми значками. Швейцер украдкой взглянул на настенные часы: еще две минуты – и в коридоре зазвучит запись церковного хора: большая перемена. Он никогда не понимал, почему сугубо светское образование должно сопровождаться ангельским пением, но это непонимание происходило исключительно из того факта, что Швейцер – как и никто из его сверстников – никогда не задавался подобным вопросом.

– Очень хорошо, – послышался голос отца Таврикия. – Не знаю, Швейцер, чем занята ваша голова, но материалом вы владеете блестяще.

Швейцер опять поклонился – отрывисто, так что каштановая прядь упала ему на глаза. Он откинул ее гордым взмахом головы, и учитель подумал, что чрезмерная грациозность жестов не слишком желательна в закрытом заведении для молодых людей. В это мгновение грянул хор, возвещая свободу и сообщая фигуре Швейцера новую привлекательность.

Отец Таврикий решил упредить соблазн и не задерживать класс.

– Свободны, – бросил он, вытирая руки тряпкой, от которой ладони становились еще белее, будто тронутые снежным пушком проказы.

...На перемене воспитанники прохаживались парами. Швейцер успел отозвать Коха в сторону, взял его под локоть и медленно повел в направлении гимнастического зала.

– Кох, как вы могли? – спросил он негромко и стиснул руку товарища.

Тот притворился непонимающим:

– О чем вы?...

– Вы прекрасно знаете, о чем! Остудину все известно. Может быть, вас кто-нибудь еще видел?

– Нет, больше никто, – облегченно ответил Кох, радуясь, что может так сказать, не покрывив душой. – Он застал меня врасплох. Я уже процеживал через вату...

Но Швейцер разгневался еще больше:

– И только? Зачем же было рассказывать? Ведь он не мог догадаться!

На это у Коха не нашлось ответа. Он с напускной веселостью пожал плечами и виновато посмотрел на Швейцера.

Какое-то время они прохаживались молча. Их вид говорил за себя, и всякая конспирация становилась напрасной. Даже самый слабый физиономист легко мог понять, что что-то затевается. На их счастье, в коридоре не было педагогов: во время большой перемены учителя собирались в канцелярии. Там пили чай, знакомились с последними сводками, пришедшими по секретным каналам, обсуждали утренние дела.

– Нам придется принять Остудина, – решил наконец Швейцер.

– Может быть, он еще откажется...

– Остудин?! – фыркнул Швейцер. – Только не этот. Нет, обязательно нужно, чтобы Остудин участвовал. Тогда ему придется держать язык за зубами...

Говоря так, он понимал, что его надежды не выдерживают критики.

– Вы слышали новость? – Кох, меняя неприятную тему, подался к уху соседа. – Ходят слухи, что поймали Раевского.

Швейцер остановился и вытаращил глаза:

– Да что вы говорите!

– Все уже знают и судачат. Мне сказал Вустин.

– Он что, видел его?

– В том-то и дело, что видел. Это было ранним утром, Вустин проснулся и пошел по надобности. И случайно выглянул в окно, а там... – и Кох замолчал.

– Ну же! – Швейцер нетерпеливо дернул его за сюртук.

– Его вели через двор, – Кох говорил еле слышно, слова тонули в церковном песнопении. – Очень быстро. С ним были Савватий, Таврикий, доктор Мамонтов, Саллюстий и охрана, конечно. Они держали его под прицелом.

– Это меняет все дело! – пробормотал Швейцер. – Теперь нам не дадут ступить ни шагу. Наверно, придется отменить сходку.

– Да полно! – огорчился Кох. – Никто ничего не пронюхает. Не выставят же они посты в клозете. Будем заходить с интервалами в полчаса, в разные кабинки, а плошку – ногой, под перекрытия...

Но его товарищ был занят другими мыслями.

– Вы говорите, ранним утром, – произнес он задумчиво. – Почему же нам не объявили? Случай-то исключительный! Вы помните, чтоб кто-нибудь убежал?

– Столько же, сколько и вы. Это же было до нас! Только сплетни.

– Верно, только сплетни. Два случая, и в обоих – как в воду канули. А на собрании сказали, что ими завладел Враг. Никто и не подумал усомниться.

– Так вы думаете... – Кох сообразил только сейчас. – Вы считаете, что их... тоже так, как Раевского, тайно...

Швейцер очнулся:

– Слушайте, Кох! Самое ужасное, что я говорю об этом с вами, – он сделал ударение на последнем слове. – Не обижайтесь, но ваша способность хранить секреты превращает вас в опасного собеседника. Я ничего не считаю. Возможно, что здесь совсем другой случай. Может быть, нам сообщат после... за трапезой или в проповеди. Я не исключаю, что Вустину вообще все это приснилось. Или он попросту лжет... За ним такое водится. Вы знаете, о чем он мне недавно рассказывал?

Кох отрицательно покачал головой.

– О лазе! Он утверждал, будто знает, где лаз! Но где – не говорит.

Швейцер, видя отвисшую челюсть Коха, мгновенно пожалел о своих словах. До чего же он непоследователен. Ведь две секунды назад он обвинял того в излишней болтливости.

На его счастье, Кох не поверил.

– Чепуха, – рассмеялся он, немного подумав. – Нашел – и не заглянул? Вустин – недалекий человек. Поэтому он сильно переживает и хочет выделиться, но не способен сочинить ничего своего. Вот и взял готовую легенду... Да, если так, то он вполне мог выдумать и Раевского!

– Вполне вероятно, – согласился Швейцер.

Он попытался представить тайгу, простиравшуюся за Оградой. Сотни километров отравленной чащи, кишачей лазутчиками Врага. Тысячи километров до ближайшего Острова. Ядовитые ягоды, хищные грибы, полчища нежити. Гнус, успешно переживший катаклизмы и с переменным успехом травленный, осатанелое зверье, бездонные топи. Даже если допустить, что лаз не выдумка и существует на деле, то ни один лицеист, пребывающий в здравом уме – Кох не прав – не отважится им воспользоваться, разве что одурманенный Врагом, который день ото дня нагнет и рвется к последнему оплоту умирающей старины. Тем паче был невозможен Раевский, продирающийся сквозь заросли, отбивающийся жалкой палкой. Нет, подумал Швейцер, это как раз возможно. Гораздо труднее вообразить, что Раевский остался жив после этих злоключений. Что кто-то его обнаружил и вернул. Когда им объявили, что Раевского взял неприятель – причем сказали это категорично, ни на секунду не допуская возможности побега, – то мысленно все попрощались с товарищем, одновременно проникаясь глубоким страхом. Каждый решил про себя, что не зря их пугали последними временами – похоже, что все это правда, и даже Ограда не остановила похитителей. Вот-вот она падет...

Была и другая вероятность. Враг ловок и коварен, ему ничего не стоило сделать с Раевским нечто такое, о чем и подумать-то нельзя. Например, превратить его в шпиона, перевербовать, сглазить. Или проще: загипнотизировать и послать обратно с тайным, ужасным поручением. В положенное время Раевский, поработанный сомнамбулизмом, последует программе и нанесет Лицею непоправимый ущерб. Если Вустин действительно что-то видел, то только этими соображениями можно объяснить конвой и секретность. Тогда Раевского, который, может быть, уже и не Раевский, отправили...

– В карцер, – Швейцер забылся и заговорил вслух.

– Что-что?

Голос, ответивший ему, принадлежал не Коху. Швейцер проснулся, поднял глаза и увидел ректора. Отец Савватий как раз проходил мимо и остановился, заинтересованный поте-

рянным видом лицеиста. Тут Швейцер открыл и другое: Кох куда-то пропал, и он рассказывает по коридору один, нарушая правила внутреннего распорядка.

– Вы нездоровы?

Швейцер побледнел: только не это. Он лишь недавно оправился от новой заразы, насланной Врагом то ли в лучах, то ли в бесшумном бактериологическом снаряде.

Отец Савватий положил руку ему на плечо. Ректор был огромен и тучен, лицом же похож на льва. Седая грива переходила в густую сивую бороду, и лица, черты которого по контрасту были очень мелкими, оставалось мало. Оно заключалось в аккуратный мохнатый шар, чью линию портили оттопыренные волосатые уши.

– Пойдемте со мной, Швейцер, – приказал ректор, не давая тому времени ответить, что все в порядке и нет никаких оснований опасаться очередной болезни.

– Сейчас начнется урок, – пролепетал Швейцер, и отец Савватий иронически улыбнулся его учебному рвению.

– Похвально, однако в вашем положении телесная крепость – превыше всего.

При этих словах рука Швейцера невольно подтянулась к животу. Вокруг них с ректором образовалось пустое пространство; он вспомнил картинку из старой книжки, на которой был изображен слепой пират, вручавший бывшему приятелю черную метку. Однокашники сторонились опасной пары, как если бы на Швейцера упала смертная тень. Спорить было нельзя; он покорно двинулся вслед за отцом Савватием, который важно вышагивал впереди и ни секунды не сомневался, что добыча поспешает сзади и ни на шаг не смеет отклониться от флагманского курса.

Они вышли из коридора, спустились под лестницу. В темном углу – в месте, на первый взгляд совершенно непрестижном – располагался смотровой кабинет. Ректор остановился перед дверью и постучал. Испуганный Швейцер все же успел удивиться: ему казалось, что отец Савватий властен беспрепятственно входить куда ему вздумается.

– Открыто! – послышался голос.

Ректор толкнул дверь, взял Швейцера за плечо и ввел внутрь. При виде их доктор Мамонтов, аккуратнейший и очень симпатичный молодой человек, отложил какую-то учетную книгу и вскинул брови в неподдельном недоумении:

– Неужели снова?

– Надеюсь, что нет, доктор, – отозвался Савватий. – Наш юный друг стоял и разговаривал сам с собой. Я не силен в медицине, а так как операция была совсем недавно, то счел за лучшее...

– Ну, это пустяк, – махнул рукой доктор Мамонтов. – Но раз вы пришли, то уж давайте заодно посмотрим, как поживает рубец. Раздевайтесь, сударь, – и он застегнул халат, до того распахнутый.

Швейцер, немного успокоенный тоном доктора, снял сюртук, распустил галстук, задрал накрахмаленную рубашку. Шрам выглядел уродливо, но местное воспаление явно шло на убыль. Швы сняли неделю назад, и единственным – помимо шрама – напоминанием о недавнем хирургическом вмешательстве, были едва ощутимые ноющие боли.

Мамонтов присел на корточки, аккуратно помял рубец теплыми пальцами. Отец Савватий, выказывая искренний интерес, пристроился сбоку и громко сопел, созерцая живот лицеиста.

– Боли не беспокоят? – осведомился доктор.

Он прикинул к Швейцеру ухом, приложив его точно над пупком: слушал. Лицеист гадал, что можно слышать в животе, кроме голодного урчания и тяжелых кишечных вздохов.

– Нет, все хорошо, – сказал он уверенно.

– Еще бы! – усмехнулся Мамонтов и распрямился. – Я так старался!

Он отошел к умывальнику и пустил воду. Не оборачиваясь, доктор задал новый вопрос:

– Тогда – что с вами происходит, мой друг? У вас галлюцинации? Вас беспокоят призраки?

– Лучше сказать сразу, – вторил ему отец Савватий. – Враг очень изобретателен, а призраки и галлюцинации – как раз по его части.

Внезапно Швейцеру отчаянно захотелось во всем признаться. И в греховных помыслах о сказочном лазе, и в размышлениях над свидетельством Вустина, и даже в планах на полночь. Что, если ректор не так уж далек от истины и Враг постепенно овладевает сутью Швейцера? Ведь эти вещи всегда начинаются исподволь и обнаруживаются лишь в мельчайших отклонениях в поведении. В противоположность телесным недугам, которые, даже не будучи прочувствованы, стараниями доктора Мамонтова распознаются легко и своевременно. Но Швейцер вовремя вспомнил, как зол он был на Коха – сам же, выходит, готов был сделать нечто гораздо подлее. Была не была – с нами Бог, и Врагу не пройти.

– Я абсолютно здоров, – отчеканил Швейцер и посмотрел доктору прямо в глаза – настолько участливые, такого насыщенного карего цвета, что в этом был какой-то переизбыток, как если бы некто, выдавливая на щетку сапожный крем, надавил слишком сильно, и теперь никто не знал, что делать с излишком.

Мамонтов выдержал взгляд и более того – поддержал и дополнил его собственным, неотрывным. «Магнетизирует», – равнодушно подумал Швейцер, растворяясь в сапожном креме и ожидая щетки для наведения глянца. На эту роль как нельзя лучше подходила пресловутая ректорская борода.

Савватий, однако, не вмешивался. А доктор Мамонтов, казалось, вот-вот заискрится, и вот уже все поплыло и затуманилось. Комната прыгнула. У Швейцера слегка закружилась голова, в ноздри ударил запах нашатырного спирта. Мотая головой, он увидел, что сидит на винтовом табурете, тогда как врач уже не смотрит, а сует ему под нос коричневый пузырек.

– Ничего страшного, сейчас вы придете в себя.

Запах стал нестерпимым, и Швейцер отпрянул. Мамонтов удовлетворенно вставил пробку и обернулся к ректору:

– На сей раз обошлось. Конечно, я не видел и не слышал, как он разговаривал, поэтому вам, господин ректор, стоит за ним понаблюдать. Поручите это педагогам – ситуация не так серьезна, чтобы вы тратили ваше личное время.

– Благодарю вас, доктор, – похоже, что отец Савватий был несколько разочарован. – Можно ли ему вернуться к занятиям?

– Разумеется, – кивнул Мамонтов и хлопнул Швейцера по голому плечу. – Одевайтесь, молодой человек. Вас ждут великие свершения на ниве научных познаний.

Тот невнятно пробормотал слова благодарности и взялся за сюртук, но тут же отложил его, вспомнив, что первой идет рубашка.

Когда он полностью оделся, отец Савватий отвесил доктору поясной поклон и вывел Швейцера из кабинета. В коридорах было пусто, урок уже начался.

– Не тревожьтесь, – пробасил ректор. – Я отведу вас лично, и вам не придется ничего объяснять.

2

Новейшую историю преподавал Саллюстий – взбалмошный, порывистый в движениях и неприятно язвительный педагог.

К тому моменту, когда отворилась дверь, он уже здорово завелся и был застигнут в подготовке к хищному прыжку – одному из тех, которыми он, воодушевившись, сопровождал пересказ ярких и драматичных событий.

– Вот вам Швейцер, – ректор взял лицеиста за руку и вывел к кафедре. – Не журите, отец Саллюстий, за опоздание, в том нет его вины. У нас была важная беседа, и я его задержал.

В классе стояла мертвая тишина.

Тут Швейцер понял, что ректор, оставшийся при своих сомнениях, стремится посеять в сердцах лицеистов подозрения в наущничестве и тем, спутав планы, предотвратить назревающую крамолу. «Не судите, и не судимы будете», – вспомнил он с горечью. Это было возмездие – за Коха. Теперь отмываться предстоит уже Швейцеру.

Но отца Саллюстия мало что заботило помимо его предмета.

– Садитесь, Швейцер, – приказал он нетерпеливо. И, не дождавшись, пока тот дойдет до парты, продолжил с места, на котором остановился: – Представьте: вы сидите с газетой, одеты в шлафрок... телевизор включен, на кухне свистит чайник... и вдруг – трах! гаснет свет. Трах! – в туалетной комнате вылетают краны, вода бьет фонтаном... снова – трах!! вы теряете память и стоите, не зная, кто вы и где очутились...

Всякий раз, когда Саллюстий выговаривал «трах», он делал прыжок и продвигался по проходу меж партами, словно исхудавшая, хищная лягушка. На миг замолчав, он бросил гневный взгляд на ректора, который все еще высился возле кафедры, тот счел за лучшее выставить ладони: продолжайте! – откланяться и выйти на цыпочках вон.

Ближе всех к отцу Саллюстию сидел Листопадов: самый маленький и самый тихий лицеист. Учитель резко развернулся и уперся руками в его парту, от чего Листопадов втянул голову в плечи и с ужасом глядел перед собой, не смея смотреть на историка.

– Как бы вам это понравилось, Листопадов? – просвистел Саллюстий. – Что бы вы почувствовали, ворвись к вам дом полсотни стрекоз величиной в сковородку? Начни они откладывать в вас яйца? А? Я не слышу!

Листопадов что-то прошептал, но Саллюстий его не слушал. Он метнулся к следующей парте, за которую минутой раньше сел Швейцер.

– И так везде, – учитель округлил глаза и понизил голос до еле слышного шелеста. Класс по-прежнему хранил гробовое молчание. – Везде! Хуже других пришлось тем, у кого не отшибло память. Они суетились, будучи не в силах понять, что происходит, и с ужасом наблюдали, как милые, знакомые предметы меняют форму, словно сбрасывают отслуживший панцирь... нет, как бывает с личинками, которые покидают кокон... И все вокруг шевелится, грозно вздыхает, набирает мощь. И снова – трах! – Отец Саллюстий подпрыгнул. – Занимаются пожары, один за другим. Трах! – и рвутся боеприпасы на оружейных складах. Трах! – атомная станция превращается в гриб. Бабах! – и звездный дождь обрушивается на Землю! Тысячи метеоритов бомбят города, выжигая километровые воронки! Транспорт останавливается, связь приходит в негодность. Электричества нет, разрозненные компьютеры подключены к автономным системам питания... Всемирная Паутина сметается шваброй... Взлетают ракеты, доканчивают то, что не успел сделать Враг...

Саллюстий умел завоевать аудиторию. Швейцер, неотрывно следивший за ним, улавливал запах пищи, которую учитель съел во время ланча, но даже эти тошнотворные испарения не могли помешать ему замороженно смотреть прямо в рот Саллюстия. Мало того – крошки, застрявшие в жидкой бородке историка, лишь придавали дополнительную достоверность его рассказу.

– Можно вопрос? – послышался почтительный голос.

Отец Саллюстий быстро повернулся, отыскал вопрошателя и молча ткнул в него пальцем, повелевая спрашивать.

– Что такое телевизор? И эта... паутина?

Спрашивал Вустин – тот самый, что якобы видел захваченного Раевского.

– Механизмы, – недовольно пояснил Саллюстий, раздраженный второстепенным вопросом. – Не в этом суть! Какая разница? В мире существовало множество устройств, на изучение

которых нам не хватило бы жизни! У нас иная цель, нам нужно проникнуться, – он выставил палец, – пропитаться атмосферой тех дней, чтобы понять! Понять, насколько нам повезло, прославить наше высокое предназначение! Воздать хвалу Господу Вседержителю нашему Иисусу Христу и его недостойной рабе, Церкви Устроения Господня.

Обычно, когда отец Саллюстий переходил к выводам и морали, речь его преисполнялась неумеренным пафосом. Но лицеисты, околдованные магнетизмом, с которым не смог бы, пожалуй, поспорить и магнетизм самого доктора Мамонтова, проглатывали все, не разбирая вкуса.

– Господин учитель, – послышался еще один робкий басок. – Расскажите нам, пожалуйста, о Враге.

По классу прокатилась электрическая волна. Говорил Кох, чистюля и отличник, ему дозволялось многое – в том числе перебивать, даже отца Саллюстия. Все вздохнули: сейчас начнется! Магнетизм магнетизмом, но портрет Врага куда занимательней, чем прославление Спасителя. Не то чтобы никто не слышал о Враге прежде – нет, им прожужжали все уши, но ведь это были неопределенные, туманные характеристики. И лицеисты знали, что ждать чего-то свежего от Саллюстия тоже не стоит. Однако – магнетизм! Лучи, исходившие от историка, словно приоткрывали завесу, так что всем казалось, что сейчас, сию минуту они уловят нечто важное, по тем или иным соображениям невысказанное ранее. Конечно, это был самообман. Аудитория прекрасно понимала, что Враг – это тайна, в которую бессильна проникнуть даже Церковь.

– Враг вездесущ, – прошептал Саллюстий и вдруг повернулся на каблуке. Всем почудилось, что он сейчас отколет какой-нибудь номер: перекинется через парту или взлетит под потолок, оседлав указку. Этого не произошло. Историк сгорбился и заговорил, глядя в пол. Создавалось впечатление, что он высасывает слова из-под паркета. – Он пришел ниоткуда, явившись везде и во всем. Никто не знал противоядия. Враг обладает силой, которой противодействует только чудо. Лишь чудом сохраняется в целостности наш бастион. Мы не можем понять, откуда он взялся – с неба или из недр, мы видим лишь, что он... он... – Саллюстий, продолжая сверлить взглядом пол, подыскивал слово. Лицеисты перестали дышать. – Он текуч... Когда б не наши жертвы, он захватил бы все. И даже жертвы недостаточны: он ухитряется проникнуть, просочиться... Он возмущает соки, порождает гниль в селезенке, печени, почках, легких... Наш врач работает не покладая рук... Бывает, что в операционной неделями не гаснет свет... Враг рвется к сердцу! – Саллюстий вскинул голову и обвел учеников яростным взглядом. – Но сердца он не получит! Сердце получит Господь, сердце – наша священная жертва! Без сердца Враг не сможет нас одолеть. Он будет сколь угодно долго отравлять наши души холодным гипнозом, будет и дальше совращать и соблазнять слабых, подбивая их на измену, толкая в смертельную внешнюю тьму, за Ограду, как сделал это...

Тут историк прикусил язык и замолчал. «С Раевским», – мысленно dokonчил за него Швейцер и воровато оглянулся, высматривая Остудина. Тот с готовностью ответил ему многозначительным взглядом.

Положение спас Нагле – аристократического вида молодой человек, словно сошедший со страниц старинной книги. Он вежливо поднял руку, и отец Саллюстий сразу кивнул.

– Господин учитель, – взволнованно обратился к нему Нагле, – возможно, нам стоит принести коллективную жертву? Мы все как один готовы устроить Господа нашими сердцами...

– Молодец! – прошептал Саллюстий, кинулся к лицеисту и заключил его в объятия. – Светлая, чистая душа! Но нет, молодой человек, мы не вправе так поступить. Здесь собран Золотой Фонд нации. Отсюда, из глубинки, из покорившейся Врагу сибирской тайги, начнется возрождение России. Великий подвиг – послужить для Устроения, но все вы – зерна, которым надлежит прорасти. Минуют годы, и вы встанете у руля. Вы поведете страну, не зная страха и сомнений. Ваше молодое племя, вскормленное и воспитанное в благодати и богобоязни,

не будет испорчено Тьмой... А жертва – жертва дело Создателя. Ей станет только тот, на кого укажет Господь... Он выбирает Себе слуг по Своему, неисповедимому усмотрению. Жертва одного – агнец, которым заменяется общее тело Церкви... Он слышит нас, через три дня будет великое знамение...

Саллюстий говорил о скором солнечном затмении, полном, к которому в Лицее готовились вот уже месяц, а на уроках астрономии ни о чем другом не рассказывали.

По лицу Нагле катились слезы восторга. Историк оттолкнул его и промокнул глаза платком.

У Швейцера, который, как и все, заворуженно наблюдал эту сцену, отчаянно билось сердце. Теперь преступление, назначенное на полночь, явилось его внутреннему взору во всей своей богопротивной мерзости. Что, если это тоже происки Врага? Да, именно так. Это – шаг к разрушению, и не ему ли надо побережиться, коль скоро он только что уже перенес операцию? А ведь она была второй. Он чем-то приглянулся Врагу, Враг не отступает, гноит его плоть, уничтожает болезнями... Не справившись с телом, взялся за душу... Швейцер сжал кулаки. Надо, пока не поздно, собраться и все отменить. В первую очередь следует поговорить с Кохом. Пусть выливает свою отраву. А остальным, если поднимут гвалт, пригрозить... Внезапно до Швейцера дошло, что его появление в обществе ректора может сыграть ему на руку. Если решат, что он стал тайным осведомителем – тем лучше. Он не будет тайным. Он выдаст себя за вполне явного, ревностного помощника. Он посулит им Высший Суд, в сравнении с которым карцер покажется детской песочницей...

В этом пункте мысли Швейцера произвольно переключились на другое. Он никогда не понимал, что означает это выражение: детская песочница. Он, разумеется, читал об этой штуке, но в жизни ни разу не встречал ничего подобного. В песочнице – песок для детских игр. Песок сгребают этими... как их... совками, насыпают в ведра, раскладывают по пластмассовым формам. Что ж, это еще можно представить. Иначе обстояло дело с прилагательным «детская». В книгах это слово встречалось столь часто, что все к нему давным-давно привыкли, однако никто, если спросить, не смог бы толком описать ни детей, ни какие-либо предметы, с ними связанные. Не помогали и репродукции полотен великих мастеров. Саллюстий утверждал, что все они были когда-то детьми. Швейцер не помнил ничего такого: Враг отбил ему память. Их, уже успевших вырасти в подростков, церковные спасатели собирали по всей стране. Тестировали, простукивали, выслушивали, делали анализы... Обучали с нуля. Они же бессмысленно мычали, пуская слюну, поглощали протертую пищу, марали пеленки... «Хотелось бы знать, кем я был там, вовне, – подумал Швейцер. – До Врага». Он часто размышлял над этой неясностью, стараясь припомнить хотя бы единственный звук или образ, но прошлое молчало. Кем были его родители? У него сохранилось кое-что личное, драгоценное, в тайничке... Но Швейцер все равно не мог представить, что у него когда-то были родители. Никто не мог.

«Я спущу это зелье в клозет, растопчу его ступки и пестики... Разобью его колбы и реторты, изорву адские формулы». Сквозь пелену Швейцер видел опущенные плечи лицеистов. Слова Саллюстия имели целью возбудить восторг и вызвать умиление, граничащие с экстазом, но ноша оказалась слишком тяжела, и радость уходила в пол, исторгаясь из глаз и просачиваясь сквозь щели в партах мимо рожниц и прозвищ, выцарапанных острым по дереву. Кох чуть заметно всхлипывал. Швейцер попробовал вспомнить, что же именно сказал отец Саллюстий, но фразы рассыпались, открывая путь сплошному сиянию, обещавшему новую жизнь и великое преображение.

Ему хотелось видеть Вустина, который славился толстой шкурой, но он не смел шевельнуться. А если б улучил момент, то не узнал бы ничего интересного, поскольку Вустин, следуя общему примеру, сидел, потупив взор и время от времени шмыгая крупным носом. Он и весь был крупным: большие ступни и кисти, широкий рот, громадные глаза, которые если уж плакали, то целыми горошинами крокодиловых слез. Но сейчас, куда класс безмолвство-

вал, возвышаясь до приличествующих духовных высот, глаза Вустина оставались абсолютно сухими.

3

Занятия закончились в два часа пополудни; впереди был обед. После него Швейцеру и еще нескольким лицеистам предстояло выполнить ответственное дело: натереть пол в танцевальном зале. Через два дня ожидался бал, событие исключительной важности. Прибудут барышни из женского Лицея, тридцать персон, хранимые соборной молитвой и тройной вооруженной охраной. Танцевальные вечера устраивались дважды в полгода, и многие даже дивились, отчего так часто: опаснейшая, сложнейшая процедура! Женский Лицей находился в пяти километрах от мужского. Их еще надо пройти пешком, эти пять километров. Местонахождение особых подземных путей, по которым в Лицей подвозили продукты и прочие разности со стратегических складов, преподаватели не выдавали никому. Лицеистам, когда они глазели в окна верхних этажей, была видна ленточка грунтовой дороги, которая одна разрезала сплошной лесной массив и скрывалась за дальним холмом. Преподаватели утверждали, что внешне Сибирь оставалась прежней – тайга тайгой, с голодным зверем и стылыми серебристыми реками. Но внешность скрывала изменившуюся суть, готовую на страшные сюрпризы. Визит неизменно наносила лишь одна сторона, юношей никуда не водили, объясняя это тем, что в женском Лицее нет помещения для танцев. Но в это никто не верил: все понимали, что дело в другом, просто женщины – трусихи, слабый пол, и вряд ли отважатся бежать. Побег – дело мужское. И, раз уж балльные танцы предусмотрены комплексной программой великосветского воспитания... Короче говоря, лицеисты завидовали своим подругам. Те появлялись счастливые и гордые; гнус их не брал, это было видно с первого взгляда на бархат и румянец щек, шелк шеи – одним словом, все, что свойственно барышням. И ноги не сбиты, и клещ не впился... Юноши, изнемогавшие от любопытства, пытались всяческими хитростями выведать у девиц подробности их путешествия, однако барышни отмалчивались, готовые болтать о чем угодно, но только не о дорожных впечатлениях. Не смеют, не полагается, строжайше запрещено. Кавалеры терялись в догадках. И лишь одиночки... Одиночка, поправил себя Швейцер. Уместнее единственное число, ведь прочих он не знал. И разве были они? Легенды, в которых рассказывалось о других беглецах, были полны домислов – настолько очевидных, что, казалось, не заслуживал веры и сам костяк повествования. Почему же молчат о Раевском? Вустин глуп, но не настолько, чтобы спутать сон и явь...

После новейшей истории прошли еще естествознание и римское право. Вместо последнего в расписании значилась физическая подготовка, которую вел сам доктор Мамонтов, но урок заменили. Поэтому последними преподавателями, с которыми сегодня общались лицеисты, стали отец Коллодий и отец Маврикий. От обоих было бесполезно ждать новостей. Мамонтов, не считаясь со своим предметом, любил поговорить на отвлеченные темы, и вот его задержали некие дела. Не иначе, как Раевский приволок-таки заразу, и в этом случае занятость доктора получала объяснение. И все же Раевским нельзя было не восхищаться. Бегство представлялось пусть безумным, но все-таки подвигом. Лицеистов сковывал страх при одной лишь мысли о выходе за Ограду, да еще без сопровождения, без соборной молитвы, в одиночку. Нужно быть действительно отчаянным человеком или хотя бы повредить в уме. Швейцер, например, ни за какие блага...

...Он уперся обеими ладонями в дверные створки и с силой толкнул. Те разошлись, открывая взору просторный зал; пол уже был покрыт мастикой, которую оставалось растереть.

Серьезные мысли улетучились.

– Ого-го-го! – завопил Швейцер, впрыгнул ногами в щетки и помчался через зал наискосок в левый дальний угол.

Сзади слышался топот. Нагле, Берестецкий, Недодоев и Шконда, приданные ему в усиление, расхватили щетки и тоже ринулись на штурм зала, прочерчивая в мастике широкие борозды.

– Куколка, поаккуратнее! – крикнул умница Берестецкий и на бегу пригладил пробор. – Вас только недавно прооперировали!

– Сейчас, Берестецкий, оперировать будут вас!

Швейцер, угрожающе пригнув голову, полетел на советчика. Но пол еще не был скользким, и тот, остановившись, следил за ним с издевательской ухмылкой. Недодоев со Шкондой затеяли футбол; щетка метнулась в ноги Швейцеру, который смешно споткнулся, взмахнул руками и рухнул ничком.

– Ну вот! – Берестецкий, похоже, по-настоящему встревожился. – Швы разойдутся! Я серьезно говорю.

Он поспешил на помощь, присел на корточки.

– С вами все в порядке?

– Да бросьте, Берестецкий, будет вам, – недовольно пробурчал Швейцер, вставая на четвереньки. Уже второй раз за день его здоровье ставится под вопрос. И даже третий, если учесть мгновенную заинтересованность Мамонтова.

Желая поскорее сменить тему, он принял командование и крикнул Недодоеву и Шконде:

– Эй, на поле! Сворачивайтесь! Савватий всех на кирпич поставит!

Шконда выразил свое отношение к самозванству резким свистом.

– Пенальти, – добавил он строгим судейским голосом. – Нагле! Что вы стоите, как неродной? Марш на ворота!

Воспитанный Нагле лишь отмахнулся. Он усердно трудился в углу, и вокруг него уже образовался зеркальный пятачок.

Швейцер отряхнулся, но не вполне удачно: на животе и коленях остались рыжие следы.

– Теперь весь вечер тереть, – проворчал он озабоченно.

– Ну так давайте живее управляться, – решил Берестецкий. – Шуруйте к окнам, а я доведу до рояля.

– Тут до ночи работать, – Швейцер, казалось, только сейчас осознал объем работ.

– Глаза бояться, ноги делают. Вот, пополнение прибыло!

Швейцер оглянулся и увидел, как Вустин в дверях пытается поддеть носком ремешок щетки. «Повезло», – подумал он. Есть случай разобраться и сделать выводы.

– Давайте-ка я лучше начну от дверей, – предложил он Берестецкому.

Берестецкий пожал плечами: какая разница? Он ничего не знал, иначе появление Вустина не оставило бы его равнодушным. Это, впрочем, ничего не значило, Берестецкий вечно все узнавал последним. Он всюду опаздывал, забывал подготовиться, засыпал, считал ворон. На его коленях не было живого места от битого кирпича, в который ставил его не сильно гораздый на выдумки Савватий. Это побуждало Берестецкого, способного и знающего лицеиста, еще пуще стараться и лезть из кожи, но тщетно: через секунду глядь – снова воспарил, снова посчитал десятую ворону, снова бит.

Швейцер заложил руки в карманы и с напускной беспечностью повел дорожку к Вустину. Тот замешкался, щетка не налезала на здоровенный ботинок, и ему пришлось расстегнуть ремешок, чтобы расширить петлю.

– У вас нет шила? – таким вопросом встретил он Швейцера. – Надо провертеть дырочку.

– Я с шилом не хожу, – усмехнулся лицеист. – Вы бы их вообще сняли, в носках будет проще.

Вустин слегка покраснел. Швейцер вспомнил, что несколько дней назад его разыграли в спальне: улучили момент и спрятали носки под подушку. Полураздетый Вустин ругался,

не понимая, откуда несет клозетом, а его товарищи изображали испуг и клялись, что это не они, ей-Богу, разве что самую малость...

Однако Вустин не отличался излишней чувствительностью. Он смутился на долю секунды, но тут же удовлетворенно кивнул, скинул ботинки и просунул ножищи в ремни. Швейцер повел носом и покачал головой.

Вустин выпрямился, притопнул.

– Ну, где тут драить?

– Да пустяки, на пять минут работы, – ответил Швейцер. – Вустин, скажите-ка мне лучше вот что: как вы относитесь к сплетням?

Здоровяк помолчал. Он привык к розыгрышам и ждал очередного подвоха.

– Как все, – сказал он наконец. – Я их не слушаю. А что такое?

– Дело не в том, чтобы их слушать, – возразил Швейцер. – Дело в том, чтобы их распускать.

Это он произнес зря. Вустин, зная свою уязвимость, легко обижался, тогда как у Швейцера не было никаких доказательств его лживости.

– Повторите, – голос его сделался зловещим. – Вы смеете обвинять меня в распускании сплетен?

Швейцер быстро оглянулся. Шконда и Недодоев продолжали игру, Нагле расширял пятючок по спирали, двигаясь от его центра. Берестецкий находился уже в нескольких метрах от рояля и работал как заведенный.

– Нет, не вы, – быстро сказал Швейцер. – Но – про вас.

– Кто? – теперь в тоне Вустина явственно слышалась злоба.

– Э-э, нет, так мы не договаривались. Неважно, кто. Но я обязан вас предупредить: по Лицею гуляют слухи. Рассказывают, будто вы стали свидетелем необычной сцены. Утром. Якобы вы кого-то видели во дворе.

Произнося это, Швейцер сосредоточенно смотрел себе под ноги, занятый как бы паркетом. Не услышав ни слова в ответ, он поднял голову и увидел, что его собеседник сильно испуган.

– Черт! Неужто разлетелось?

– Не поминайте черта. Успокойтесь: разлетелось, но не повсюду. Иначе бы с вами разговаривал не я. Понимаете?

Но Вустин уже думал о другом, он напал на след.

– Проклятый Кох! Это последняя капля...

– Оставьте Коха в покое. Скажите прямо: вы вправду видели Раевского?

Вустин вновь замолчал. Швейцер зашаркал щеткой, опасаясь спугнуть товарища.

– Может, это был не Раевский? – Он понимал, что вопрос идиотский: кого еще могли вести под конвоем, ранним утром, да так, что и после никто не узнал.

Но угрюмый Вустин, не почувствовав глупости вопроса, серьезно покачал головой.

– Я и доказать могу, – буркнул он осторожно.

Швейцер пристроился поближе. Р-раз! Р-раз! Нога его гуляла, как поршень, независимо от тела.

– Вустин! Помилуйте! Вы умеете доказывать?

Тот прекратил работу и начал неуклюже озиаться.

– Теорему, конечно, пока не могу... – Он, кряхтя, полез в карман. – А вот это – извольте...

Он помахал перед Швейцером скомканной бумажкой.

Швейцер взял ее двумя пальцами и, как бы изучая, посмотрел на свет: куражился над доказательствами, к которым Вустин обнаружил неожиданную способность.

– Осторожно! – разволновался Вустин. – Еще увидит кто.

– Ничего... – Швейцер развернул листок. – Вы давайте, работайте. Вот тогда уж точно никто не увидит. Что это?

– Раевский обронил. Или бросил нарочно. Они уже сворачивали за угол; гляжу – комочек кидает беленький. Тихонько так, пальцы разжались – и готово. Еще наступили. Я пять минут подождал, а после – пулей туда, пока не вымели.

Швейцер остановился и уставился в записку. Листок был самый обычный, наспех вырванный из тетради в клеточку. На нем было написано крупными печатными буквами:

«Господа, вас обманывают. Все вранье. Никакого врага нет. Они вас...»

Болван! Стоит и машет такой уликой! Швейцер едва не бросился на глупого Вустина, забыв, что и сам только что размахивал листком.

Текст обрывался. Буквы налезали друг на друга, почерк выглядел корявым. Писавший, похоже, спешил. Швейцер представил, как Раевский, припав на колено, быстро пишет письмо – без особой надежды, что оно дойдет по назначению. Он видит, что ему не уйти от погони, и хочет сообщить нечто важное. Но не успевает. Да, так все и было – если верить Раевскому. Но Швейцер, который уже не сомневался в подлинности записки, мгновенно смекнул, что существуют и другие объяснения. Поручи ему кто выбрать из них самое дьявольское, он бы не выбрал.

4

Они провозились до самой проповеди. Поначалу было весело, но где-то через час упарились даже футболисты. Трудились молча, высунув языки; зал обманчиво посверкивал разрозненными проплешинами. В зал заглянул доктор Мамонтов, одобрительно кивнул и скрылся, незамеченный.

Швейцер, обрабатывая периметр, обогнал всех. Он расправлялся с мастикой, как с манной кашей: подъедал ее с краю. Но делал это неосознанно, поскольку, во-первых, никогда не видел манной каши и, во-вторых, думал о записке Раевского. Шила в мешке не утаишь, о странном послании скоро узнают все. Тут не помогут никакие клятвы, взятые с Вустина. Даже этот тупица, не способный просчитать возможные последствия, после внушений Швейцера начал понимать, что прячет настоящую бомбу. На благо ли будет взрыв? И будет ли? Ребенку ясно, что Раевский повредился в уме. Что значит – «нет Врага?» С послушником что-то стряслось, и если он просто спятил в тайге, испугавшись чего-то, то это еще полбеды. Гораздо хуже, если он действовал по замыслу Врага. Нелепая, вольнодумная мысль, навязанная лицеистам извне, вызовет брожения, пересуды, отвлечет их от Устроения Господня, ввергнет в грех. Много ли нужно Врагу? Откуда им знать. Может быть, ему достаточно крохотного сомнения. Невидимое защитное поле, создаваемое коллективной верой, дрогнет, в нем появится брешь, и нечисть с гиканьем помчится на штурм твердыни. Наверно, правильнее всего будет рассказать о записке на исповеди. Однако Швейцер знал, что не сделает этого. Бог его знает почему, но не сделает. Возможно, именно в этом иррациональном нежелании уже видны первые признаки неотвратимого краха их крепости, и он тоже болен, на сей раз так, что с болезнью не справиться никакому Мамонтову.

Швейцер мчался, подобный мрачному Демону из поэмы, которую они учили на уроке литературы. Лоб его был нахмурен, челка сбилась на правый глаз, губы подобрались. Рука скользнула за спину, и Демон превратился в конькобежца. Он делал круг за кругом, пока вдруг не остановился и не увидел, что все они, шесть человек, слетелись в центр зала и тихо стоят, отдуваясь, а все вокруг сияет тусклым, многообещающим светом. Ударил колокол, созывая лицеистов на вечернюю службу. В воздухе, как всегда бывало перед проповедью, разлилось нечто торжественное, призывающее к немоте. И чувствовалось что-то еще, не столь обычное, но крайне значительное. Неужели? ... Лицеисты молча побежали к дверям, попутно заправляя

выбившиеся рубашки, скидывая щетки и наскоро приглаживая волосы. В коридорах и переходах стоял осторожный гул, слышался топот далеких ног. Церковь находилась на первом этаже, недалеко от врачебного кабинета. Под нее отвели еще один зал, размерами почти не уступавший танцевальному. Лицеистов, которые ни разу не видели настоящего храма, ничуть не смущало его внутреннее устройство. И правда – все было сделано на совесть: алтарь, образа, хоругви, тяжелые свечи. По церкви растекался запах ладана. Не было разве что общей округлости форм, свойственной православным храмам, и хор был записан на пленку, а службу служил отец Пантелеймон – единственный педагог, ведавший исключительно религиозными вопросами. Хотелось пойти дальше и назвать его единственным в Лицее профессиональным священнослужителем, но это, конечно, было не так.

Прочие преподаватели помогали; сегодня вместе с Пантелеймоном служили Таврикий и Коллодий. Лицеисты чинно входили в зал, размашисто крестились на алтарь, а Коллодий, нависая над Псалтырем, монотонно бормотал бесконечную скороговорку.

Шестерка полотеров рассеялась в общей толпе; в Лицее обучалось сто с небольшим человек. Швейцер, обычно молившийся в первых рядах, не стал проходить ближе и остался стоять у входа, в ногах Чудотворца. Таврикий, скрытый от глаз в интересах таинства, включил запись. Коллодий все бормотал; грянул хор, троеперстия взметнулись ко лбам. Отец Пантелеймон вышел из алтаря и махнул кадилом, желая всем собравшимся мира. Служба началась.

Обычно ее служили строго по православному канону. Но вскоре все заметили, что сегодня в порядок внесли небольшие изменения – сократили там, сократили тут, и паства моментально поняла, в чем дело. По толпе прошло легкое волнение. Пантелеймон держался невозмутимо, его лицо не выражало никаких чувств. Пуговичные глаза смотрели прямо; в седой бородке вдумчиво округлялись ревностные губы. Однако опыт подсказывал лицеистам, что в ближайшее время служба примет совсем иной оборот. Берестецкий толкнул локтем Шконду, предлагая прислушаться: тот наострил уши и взволнованно кивнул: верно! это *другая* запись! И вот в необычности службы уверились все, теперь Пантелеймона никто не слушал. Все ждали первых сигналов Устроения, редких нот, которые встроятся в хор и постепенно завладеют всем музыкальным сопровождением.

Точно! Пискнула соло-гитара, квакнул бас – пока еще робко, неуверенно. Пение между тем продолжалось, не снисходя до инородных звуков. Но кто-то прошелся по струнам, и бас сложился в полноправную музыкальную тему. Соло-гитара, осмелев, разродилась замысловатым вывертом. В толпе лицеистов кто-то нерешительно хлопнул в ладоши. «Бу-у-udet со всеми ва-а-ами-и-и...» – басил Пантелеймон, кланяясь и размахивая кадилом. Пуговицы ожили: в глазках священника заиграли искорки. Хор отступал, оттесняемый нескладной электронной какофонией. Хлопки участились, послышался свист. Увертюра нарастала, похожая больше на настройку инструментов перед оперным спектаклем. Задавленные ангелы были едва слышны и казались обиженными, бас растекался, подключился электроорган. И тут же, вбивая гвозди и возвещая приближение самого главного, ухнул главный барабан. Над алтарем, под самым потолком, зажглись прожекторы. Ритм учащался, гитары с органом прыгнули на колеса. Откуда-то из-за кулис выскочили Таврикий и Коллодий. Притоптывая в такт, они сорвали с отца Пантелеймона мрачные одежды и обрядили в новые, белоснежные.

– Да-а! – проорал отец Пантелеймон, расшвырял ассистентов и ударил в мохнатые ладоши.

– Да-аа!!! – лицеисты откликнулись немедленным ревом.

Грохот ритмичных рукоплесканий сотрясал стены. Луч прожектора сорвался с места и начал прыгать, выхватывая из полумрака то одного, то другого ученика. Но двигались только руки, танцы не допускались. Засверкала стробоскопическая лампа, в ногах Пантелеймона взорвались огни подсветки.

– Что это значит? – крикнул священник, перекрывая грохот. – Какая весть грядет к вам, блаженные чада?

– Перст!!! – ответил ему дружный вой.

– Чей это перст, други мои?

– Божий!

– Как мы его встретим?

– Возрадуемся!!

– А как мы возрадуемся?

– А-а-а-а-а!!!

Стены дрогнули, упала свеча, но ее проворно подхватила и заменила чья-то тень.

Луч летал, задерживаясь на лицах не дольше чем на секунду. Всякий раз, когда он падал на лицо Швейцера, тот проваливался в пустоту, и в животе его тоже что-то обрывалось. Однако через миг, преодолевая дрожь в коленях, Швейцер уже вновь бил в ладоши, а бездна разверзалась перед кем-то другим.

Ситуацию усугублял отец Пантелеймон, который прыгал перед лицеистами и, стараясь попадать в такт лучу, тыкал в них пальцем. Праздничное одеяние, которое ассистенты успели только набросить ему на плечи, сбилось, и один рукав волочился по полу.

– Где же перст?!

Пантелеймон, словно отчаявшись, порывисто отвернулся, рухнул на колени и воздел руки к прожектору.

– Где?!! – уже без приглашения вторили ему лицеисты.

– Но мне что-то слышно! Я разбираю слова! Я прислушиваюсь к имени!

Священник приложил к уху ладонь и сделал вид, будто прислушивается.

– Громче! Громче, Господи! – возопил он.

И произошли две вещи: луч на секунду погас, а после с новой силой – но уже без прыжков, твердо и уверенно – ударил в благородный лоб Нагле. Одновременно под потолком вспыхнуло электронное табло: фамилия Нагле загорелась яркими красными буквами. Музыка оборвалась. Вокруг Нагле образовалось пустое пространство; лицеисты пятились, расступались, глядя на избранника с восторгом и ужасом. Все погрузилось во мрак, даже алтарь, остались лишь красные буквы и одинокая фигура, стоящая в центре светового круга. Какое-то время висела тишина, затем раздался слабый вздох: вернулись ангелы. Хор медленно нарастал. К первому, главному, прожектору добавился второй, за ним – третий, четвертый, седьмой, десятый. Их лучи образовали световую дорожку, которая пролегла от Нагле до отца Пантелеймона.

– Слава агнцу! – крикнул откуда-то отец Саллюстий.

– Постойте, постойте... – забормотал Нагле, ошеломленно озираясь.

У него затряслись руки. Но отец Пантелеймон не дал ему упасть духом: раскрыл объятия и зычным голосом призвал возликовать. Не слишком надеясь на душевную крепость воспитанника, он двинулся по дорожке, дошел до Нагле и стиснул его, как надломленную тростинку.

– Господь указал на тебя, чадо, – шепнул он негромко, но шепот услышали все. – Господь избрал тебя для Устроения. Пойдем, тебе пора.

Швейцер стоял через три человека от агнца. Он думал, что лучу не хватило мгновения – еще чуть-чуть, и Пантелеймон обнимал бы уже не Нагле, а... У него застучали зубы, но не от страха, а от возбуждения. Устроение – великое таинство. Бояться ли его, радоваться ли ему – никто не знал. Устроенный не возвращался никогда; с той самой секунды, когда в него упирался указующий перст, на избранника ложилась печать. Он больше не принадлежал миру простых смертных, его уста замыкались навсегда. И он, как думали многие, во что-то превращался. Каким-то образом он растворялся в Господе, прилагаясь к Его святым членам и укрепляя мощь, которая в должное время обрушится на Врага, прольется чашей гнева, преобразит мир...

Лицеисты молчали. Они уже знали, что проповеди сегодня не будет: отец Пантелеймон держался мнения, что вмешиваться в Божий промысел убогими людскими речами – непозволительное кощунство, тяжкий грех. Но этого можно было и не объяснять. Все видели, что произошло нечто исключительное. Перст указывал редко, на памяти Швейцера – всего одиннадцать раз. Он подумал, что за ужином взгляды всех будут прикованы к пустующему месту, которое еще в обед занимал ни о чем не подозревавший Нагле. И то же будет в спальне.

Полуночный заговор, химические амбиции Коха казались сейчас чем-то потусторонним.

Хор вернул себе былую силу, и даже укрепился. Отец Пантелеймон, сжимая плечо Нагле, повел лицеиста к алтарю. Избранник шел, как механическая кукла; световая дорожка, когда он делал очередной шаг, гасла за его спиной.

Нагле взошел по ступеням. Отцы Коллодий и Таврикий торжественно приблизились справа и слева. Коллодий накинул на него багровый, золотом расшитый плащ, доходивший до пола; Таврикий водрузил на голову богатую тиару. Пантелеймон придержал агнца за руку, и тот покорно остановился. Священник обернулся, преклонил одно колено, прижал руку к сердцу и склонился перед лицеистами в низком безмолвном поклоне. В тишине кто-то не к месту щелкнул пальцами. С потолка пополз бархатный занавес, отделяя алтарь с ассистентами и Нагле от всех остальных, находившихся в церкви. Когда он полностью спустился, отец Пантелеймон не изменил своей позы. Лицеисты, крестясь, потянулись на выход. Последние, которым выпало запира́ть двери, могли видеть, как он все стоит на колене – совсем один, то ли в скорби, то ли в глубоком благоговении.

5

Столовая была похожа на небольшой ресторан. В очередном зале – на сей раз без окон и с низким потолком – стояли столики на шесть персон. Обстановка была строгой, излишества не допускались; не было даже скатертей. Ели из расписных деревянных мисок деревянными ложками, вилок и ножей не полагалось. Обращаться с последними лицеистов учили на специальных занятиях по этикету: там выдавали настоящие фарфор и серебро.

Преподаватели столовались отдельно, в собственном погребке. Во время трапезы воспитанников один из педагогов прохаживался меж столиков и следил за порядком. Сегодня вечером дежурным оказался сонный отец Маврикий, фигура абсолютно непрошибаемая. С безучастным, полуобморочным лицом он еле передвигал ноги и казался глубоким старцем, хотя все знали, что на самом деле Маврикий находился в расцвете лет и имел шанс пережить любого коллегу, включая ректора и исключая разве что доктора Мамонтова. Он преподавал химию, изнемогая на уроках от скуки, и даже успехи смышленного Коха, которыми мог бы гордиться любой учитель, оставляли его равнодушным. Маврикия не было в храме, но если бы он там был, это никак не сказалось бы на его манерах. Ничто его не радовало, ничто не страшило и не впечатляло, в том числе и самое Устроение. Как дежурный он был, в сущности, полным нулем, пустым местом, и при иных обстоятельствах лицеисты не преминули бы воспользоваться вольницей, но нынче им было не до проказ.

Ужин проходил в точности так, как ждал Швейцер – если не хуже. Смешно было надеяться, что Маврикий проявит душевную чуткость и унесет пустующий стул Нагле. И пронзительное знание того, что Нагле никогда не вернется, имело следствием очень сложное ощущение. Это было не уныние – напротив, лицеисты были крайне возбуждены, в их жилах клокотало эхо ударных инструментов, а коллективный экстаз, спровоцированный искусным Саллюстием, нашел себе выход и был направлен на реальные, понятные каждому события. Однако отсутствие Нагле не позволяло возбуждению выплеснуться, а брешь, образовавшаяся в их рядах, создавала особую гамму чувств, жутковатый сироп, который стабилизировал гремучую смесь, заливал ее, не вредя в то же время взрывному потенциалу, из-за чего в душе сбивалось нечто

вроде горячей грязи, что лопаются пузырями где-нибудь на Огненной Земле или на Курилах. Где точно, Швейцер, додумавшийся до этого сравнения, припомнить не мог. Он сидел с ложкой супа, застывшей у рта, и не мог оторвать глаз от сиротского стула. Двенадцатый, думал Швейцер. Не всякий столик собирал вокруг себя шестерку, попадались пятерки, и даже четверка за одним. В один прекрасный день ударит гонг, созывая их на ужин, но никто не придет. «А столы будут стоять накрытые, – решил почему-то Швейцер. – А Маврикий потопчется, выждет минут пять-десять, и смоется к себе. Интересно, призрит ли Господь учителей, когда закончатся лицеисты?»

Неизвестно, сколько времени продлились бы эти пустопорожние размышления, не случись роковая вещь: в кухне, отделенной от зала фанерной стеной, что-то звякнуло; черпак в кастрюле, подстаканник, склянка с приправами – неважно, важно то, что этот звук произвел в душе Швейцера совершенно неожиданное изменение. Потом он уподобил свое озарение тем воспоминаниям, что просыпались в памяти прустовского героя, когда он ел бисквит, размоченный в липовом чаю тетки Леонии, – образ, которым их постоянно мучил на уроках литературы отец Гермоген. Слабый звон уцепился за что-то далекое, надежно похороненное в памяти; Швейцер услышал в нем нечто знакомое, но где и когда звенело, и что звенело? Звякало, тут же вспомнил Швейцер. Что-то звякало. И в тот же миг в его сознании сверкнула вспышка вроде тех, что испускал недавний стробоскоп. Картина, которая на долю секунды предстала перед Швейцером, была абсолютно незнакомой и непонятной. Какое-то помещение: холод стекла и металла, теплый воздух. Мерное дыхание невидимого насоса. Незнакомые люди в зеленых одеждах, колпаках и масках. Солнечные блики, вкрадчивое звяканье стали. Швейцер никак не мог взять в толк, где он все это видел. В Лицее ничего подобного не было. Комната походила на врачебный кабинет, но вотчина доктора Мамонтова выглядела иначе. Видение мгновенно исчезло, но Швейцер успел запомнить слишком много, чтобы отмахнуться от *jamais vu*, списав его на излишне богатое воображение. Он где-то видел эту комнату. Что-то было. Что-то напрочь забытое, запретное для сознания, связалось с невинным кухонным звоном и прыгнуло на поверхность. Хищная рыба забвения дернула леску, увела поплавков, но тот, как и положено нормальному поплавку, вынырнет снова – рано или поздно. Швейцер опустил ложку. Видение камнем шло на дно, по воде расходились последние круги, но он успел распробовать последнюю молекулу миража, распадающийся атом, и тогда ему стало по-настоящему страшно. В том помещении была женщина. Она была одной из тех, одетых в зеленое. Из-под колпака выбивался локон, глаза подведены – точно, женщина, и это означало очень многое. В Лицее не было женщин. Швейцер вообще никогда не видел ни одной, кроме барышень из женского Лицея и их опекунш. Дело, следовательно, происходило в каком-то другом месте, за Оградой; оставалось выяснить – когда. Если он вспомнит когда, то узнает и где. Возможно – давно, во младенчестве? Кто-то – не то Саллюстий, не то доктор Мамонтов – рассказывал, что такое случается. Иногда человек способен вспомнить самое отдаленное детство и даже увидеть себя до рождения. А Швейцер, как и все его товарищи, помнил только смутную мглу лицейских коридоров, начала азбуки, счет до десяти, кормление с ложки и прочие подробности, которые ничего не объясняли. Но, может быть, память возвращается? Он вспомнит родителей, жизнь за Оградой, первые дни катастрофы – да мало ли что еще. Швейцер поймал себя на том, что внимательнейшим образом прислушивается к кухонным шумам, надеясь на какой-нибудь новый акустический феномен. Таких феноменов было много, но толку – чуть, воспоминание умерло. Теперь он уже не мог определить, на самом ли деле оно приходило. Очнувшись, Швейцер тревожно посмотрел по сторонам: все тихо и чинно, общая тишина, многие уже доедают. Маврикий медитировал, привалившись к косяку. Глухо постукивали ложки, трещали свечи – низенькие, толстые, похожие на бочонки.

«Может быть, это была операция?» – подумал Швейцер. Нет. Это исключено. Вражью заразу вырезал лично доктор Мамонтов, совмещая с операционной свой кабинет. Все проис-

ходило очень быстро: плановый диспансерный осмотр, экспресс-диагностика, наркоз, операция, рубец, восстановление сил организма. Наркоз?

Швейцер потряс головой. И что с того? При чем тут вообще медицина, почему его мысли постоянно возвращаются к ней? Потому что он видел врачей, ответил себе Швейцер. Это были врачи. Зеленый цвет хирургических халатов ставил в тупик: Швейцер никогда таких не видел. Доктор Мамонтов носил обычный белый халат.

До конца ужина оставалось совсем немного. Он быстро принялся за еду, хотя совершенно не хотел есть, но оставлять пищу было нельзя: потерю аппетита могли расценить как очень серьезный симптом. Швейцер и сам бы встревожился, но только не сегодня. Сегодня выдался очень насыщенный день, и не хлебом единым – одного Раевского было достаточно, чтобы забыть об обеде и ужине сразу. Что Раевский – им предстояла полночь! После урока Саллюстия Швейцер не успел добраться до Коха и выплеснуть гнев, высказать все, что он теперь думает о преступных химических опытах. Его послали натирать пол, а после службы, к ужину, сами по себе слова Саллюстия затмившись другими событиями. Сейчас Швейцер не чувствовал в себе прежней решимости, однако нюхать дрянь, состряпанную Кохом, он тоже не хотел. Кох утверждал, будто ему удалось получить нечто вроде эфира; пары этого нового, странного вещества опьяняли и вызывали приятные ощущения. Об опьянении лицеисты узнали из книг; табак, алкоголь и наркотики в Лицее не то что запрещались – их просто не было. Но и без лишних проповедей было ясно, что если бы кто-то был вдруг застигнут за употреблением наркотических веществ, то карцера могло и не хватить, не говоря уже о битом кирпиче. Савватию, проведая он о столь тяжком грехе, пришлось бы изменить своим правилам, напрячься и проявить изобретательность. Возможно, наказание придумали бы на особом соборном – не на ученом уже и не на учебном – совете. Швейцер поежился. Ушедший в тайну Нагле, случись Устроение днем позже, явился бы пред Господом уже вкусившим яда. Наверно, Господь отверг бы его жертву. Как это может выглядеть? Такого еще не случалось. Никто не видел избранных, которые не угодили Богу и вернулись обратно, неся в себе грозный знак Божьей немилости.

Устрашившись, Швейцер выскреб из тарелки остатки пищи и промокнул губы салфеткой с лицейским гербом.

Полночь была на подходе, а он так и не принял решения.

Запрет манил, сражаясь с совестью, которая твердила из последних сил: не делай, не делай, не делай этого! Не можешь удержать других – останься непричастным! Не стань пособником Врага, не допусти измены! Достаточно шага – и ты уже на другой стороне! Ты знаешь, что побоишься, не посмеешь исповедаться в совершенном, и Враг в этом случае вцепится в тебя, опутает невидимыми щупальцами, утянет к неверным, построит тебя в пятую колонну...

Но оставалась честь, оставалось братство, и эти понятия были столь же угодны Господу, сколь и общая чистота помыслов. «Кто хочет спасти душу, тот ее потеряет». Если Швейцер устранился, если он оставит во грехе своих товарищей, то из этого выйдет сплошная гордыня, а это уже грех из числа смертных. Волей-неволей ему придется сделать следующий шаг: донести. Пусть даже он этого не сделает – в глазах лицеистов он навсегда останется отмеченным печатью подозрения и недоверия. Тогда – соучастие?

«Я все-таки попробую их отговорить», – подумал Швейцер. В случае фиаско он будет спокоен: сделано все возможное.

– Встали, – прокрипел отец Маврикий, отрываясь от косяка. – Возблагодарим Иисуса Христа и Приснодеву Марию.

Лицеисты встали и опустили головы. Их губы зашевелились, замелькали творимые кресты – скороспелые, страшные, заживо хоронящие богомольцев. Чем бы ни было Устроение, никто не сомневался, что в привычном смысле Нагле уже нет в живых.

Трапеза окончилась. На столах остались пустые миски, вычищенные до блеска.

6

Дежурным по спальне был Листопадов. Это знали заранее – потому и выбрали сегодняшнюю полночь. «Чья она, полночь – сегодняшняя или уже завтрашняя?» – не к месту задумался Швейцер. Он разделся, юркнул под тонкое одеяло, примял треугольник подушки. У него так и не хватило духу переговорить с заговорщиками. Будь что будет. А Листопадов, мышонок, не подведет. Скорее всего, он просто прикинется спящим и в случае чего заявит, что все происходило у него за спиной. Тоже, спина! Швейцер поднял глаза на большие настенные часы, флуоресцировавшие зеленым светом. До назначенного срока оставалось еще полчаса. Он повернулся на бок и уставился на Остудина, чья койка стояла рядом. Остудин с готовностью подмигнул. Он смирно лежал с открытыми, немигающими глазами и терпеливо ждал. Такой человек своего не упустит. Если что-то кому-то положено – вынь да положь. Швейцер нахмурился и обругал себя за скверный каламбур.

В дальнем углу шептались: конечно же, Шконда и Недодоев. Этих не взяли, но они не расстроятся, им с лихвой хватает друг друга. Болтают, как сороки, с утра до вечера, хохочут, рисуют неприличные картинки, портят воздух... Чуть ближе массивной глыбой лежал Вустин, укрывшийся с головой. Возможно – спал, возможно – боялся без сна. Даже до такого тугодума рано или поздно дойдет, что он ввязался в опасное дело. Швейцер пожалел, что не сказал ему для верности выбросить злополучную записку.

– Вустин! – шепотом позвал Швейцер. – Вы спите, Вустин?

Тот не шелохнулся.

– Эй, Куколка! – мгновенно окликнул его Остудин. – Не трогайте беднягу. У него живот болит.

«А, чтоб тебя!» – выругался Швейцер. Но не спросить не мог:

– А что у него с животом?

Остудин хихикнул.

– Бумажку съел. Жевал, наверно, минут десять.

– Зачем? – Швейцер притворился, будто не понимает.

– Это была записка от Раевского, он подобрал ее во дворе. Раевский пишет, что никакого Врага нет. Представляете? Он не дописал. Будь у него время, он сочинил бы, что и Спасителя нет...

Швейцер вздохнул. Опять он зевнул что-то важное, надо быть внимательнее.

– Интересно, есть ли в Лицее кто-то, кто не знает об этой записке?

– Вряд ли. Но это к лучшему. Не высекут же сотню человек!

– Сотню не высекут. А первого, кто распустил, – высекут.

– Вот он и съел, – подхватил Остудин, не видя никакой беды для Вустина.

– Эгей, там, на мачте! – донесся шепот Коха. – Вы готовы?

– Давно.

«Хоть бы ты разлил свою отраву», – с досадой пожелал Швейцер.

Кох перекатился на другой бок:

– Берестецкий! Берестецкий!

Но удивительный Берестецкий по-настоящему спал. Кох, наслушавшись его храпа, тихо фыркнул.

– Во дает, – пробормотал он. – Оштрах! Вы тоже спите? Толкните Пендронову.

Послышалась возня. Богатырь Оштрах всегда был рад кого-нибудь толкнуть.

– Обалдели? – прошипело одеяло. – Я не сплю.

– Врете, – удовлетворенно возразил Оштрах и снова пихнул.

– Да я сейчас!.. – Всклооченный Пендронов вскочил на четвереньки и взялся за подушку. Это был сигнал к бою. Подушка в руках заставляла моментально забыть Устроение, Врага, ректора, битый кирпич и самого Господа.

Однако сегодня потасовка грозила крушением более важных планов.

– Прекратите, господа! – возвысил голос Кох. – После разберетесь.

– Нам пора идти, – вторил ему Остудин. – Кто первый? То есть первый после Коха.

Минутная стрелка глухо щелкнула, словно подтверждая его слова. Остудин спустил ноги с постели и сел.

– Господа, что вы затеяли? – насторожился Листопадов, предчувствуя какое-то несчастье.

– Ровным счетом ничего, – Кох сказал это весьма убедительно. – У нас небольшой приватный разговор. Дело чести, – добавил он веско и тут же пожалел. Решение вопросов чести в столь поздний час означало дуэль. – Мы не будем драться, нет! Это совершенно особое дело.

– Но разве нельзя его отложить? – жалобно спросил дежурный.

– Нет, Листопадов, – ответил за Коха беспощадный Оштрах, не раз тузивший Листопада за мелкие мнимые прегрешения. – Будете спорить?

– Я ничего не буду, – буркнул тот. – Меня нет. Я дал отбой, лег, и больше ничего не слышал. Я умер.

– Славно-то как, – не без презрения заметил Оштрах. – Ну, вечная вам память.

– Я иду, – громким шепотом объявил Кох.

Он бесшумно вынырнул из-под одеяла и двинулся на цыпочках к вешалке. Не без труда отыскав в темноте свой сюртук, Кох залез во внутренний карман и вынул какой-то предмет.

– Из плошки все выветрится, – объяснил он Швейцеру, который был к нему ближе всех. – Я стащил маленькую колбу с пробкой. Будет стоять за унитазом в третьей кабинке справа. Не вздумайте подпихивать под стенку – прольете! Я проверил, там ничего не видно. Если через десять минут не вернусь, выручайте, только тихо.

«А что, если разбить колбу? – осенило Швейцера. – А после сказать, что нечаянно. Но что, если запах расплзется по всему Лицею? Вряд ли. Эта дрянь не может так сильно пахнуть, иначе бы Коха давно застукали в лаборатории».

– Так кто пойдет за Кохом? – повторил свой вопрос Остудин. – Неужто жребий бросать?

– Давайте я, – сказал Швейцер.

– Идет, – кивнул Остудин. Он чувствовал некоторую вину за то, что влез незванным, и рад был задобрить Швейцера, уступив ему первенство. Кох тоже не возражал. Швейцер был парень с головой, с ним не пропадешь. Если Коху станет нехорошо и он свалится прямо возле толчка, Швейцер его вытащит.

Кох подтянул кальсоны и критическим взглядом оценил собственный сжатый кулак: колба поместилась вся, не высовывалась.

– Как считаете – в полтора часа уложимся?

– Попробуем. – Остудин, стараясь ничего не пропустить, уже перебрался на койку Швейцера и сидел теперь рядом.

– Раньше успеем, – глухо произнес Швейцер. – Нас меньше стало.

– Ах, да, – спохватился Остудин, вспомнив о Нагле, который тоже участвовал в заговоре. Легкость его восклицания задела даже Коха, который явно трусил и думал только о колбе.

– Сядьте на свое место, – процедил сквозь зубы Швейцер. – А лучше – лягте. Не ровен час, войдет кто-нибудь. Что за посиделки, спросит.

– Уже лежу, – Остудин, сверкнув босыми пятками, перепрыгнул через его постель и вернулся к себе.

Возникла пауза.

– Что вы там копаетесь? – слышался недовольный басок Оштраха. – Сдрейфили?

– Ну, я пошел, – вздохнул Кох и крадучись направился к выходу. Все притихли, и даже храп Берестецкого стал каким-то осторожным.

Швейцер посмотрел на часы, засекая время. Без одной минуты полночь. Дверь слабо скрипнула, и он услышал, как удаляются по коридору мягкие шаги Коха.

– Святые угодники, – Остудин перекрестился.

– Замолчите же!

Швейцер метнул в соседа гневный взгляд. Остудин ему отчаянно надоел. Тот натянул на голову одеяло, оставив лишь маленькую щелочку для чуткого носа.

Швейцер прислушался. Клозет находился в сорока шагах от спальни. При закрытых дверях оттуда не было слышно ни шороха, и даже вода не журчала. Но слышно было, как ее сливают, поэтому сегодня этот незатейливый звук превратился в сигнал, означающий, что все в порядке. Если он не раздастся через десять минут, Коха придется спасать. Он торопился, ловчил – мало ли что у него получилось. Сейчас надышится, рухнет, ударится головой...

Пять минут первого.

«Вылью, – твердо решил Швейцер. – Пусть убивают».

Далеко, за сотню верст от спальни, зашумела вода.

– С почином! – пискнул Остудин, довольный, что может ввернуть словцо.

Швейцер перевел дыхание. Может, не так все страшно.

Шаги возобновились. Кох шел быстро, почти бежал. Сейчас он ввалится – синий, с рукою у горла. Пройдет из последних сил к койке, повалится, захрипит, забьется в судорогах. Швейцер никогда не видел судорог, но из рассказов доктора Мамонтова помнил, что припадочному нужно разжать зубы металлическим предметом. Чтобы не задохнулся, не откусил язык. Язык вообще в таких случаях протыкают булавкой и прикалывают к воротнику, иначе он может запасть. Швейцер подумал, что не приготовил никакого металлического предмета. Ни одной железной ложки или ножа! Деревянная едва ли подойдет – перекусит. Будь она неладна, эта стилизация под древность! «Русская посуда, верность традиции, национальные корни» – оно хорошо, но надо ж с умом.

Кох вошел в спальню и расплылся в улыбке. На его лицо падал отблеск недремлющего прожектора, горевшего за окном круглые сутки.

– Что-то в этом есть, господа! – Кох щелкнул пальцами. – Если взять во внимание примеси, а их там до дури, то даже впечатляет!

– Расскажите! – одеяло Остудина слетело на пол. Оштрах и Пендронов, тоже изрядно взволнованные, снялись со своих мест и поспешили к герою. Встал и Вустин: он не откинул, а отшвырнул одеяло, как будто был страшно зол на все и вся, желая лишь одного – поскорее покончить с дурацкой затеей.

– Ну... – Кох замялся, подбирая слова. – Нечто космическое. Нюхать надо два раза, вдыхать глубоко. Трех, по-моему, будет много.

– Скоро вы там утомитесь? – в голосе Листопадова слышался страх. Оштрах погрозил ему кулаком.

– Давайте, Куколка, – пригласил Кох. – Ваша очередь.

Швейцер нехотя встал и пошел к двери.

– Два раза! – напомнили ему в спину. Он поймал подозрительный взгляд Оштраха (вот он, ректор с его лаской, спасибо ему, начинается), ничего не ответил, медленно приоткрыл дверь, выглянул в коридор. Убедившись, что там никого нет, Швейцер напустил на себя заспанный вид, как будто проснулся, застигнутый позывом, и вся его радость – в скорейшем возвращении в постель. Он вбежал в клозет и отсчитал третью кабинку справа. Кафельный пол неприятно холодил босые ноги, сердце бешено колотилось. Интересно, волновался ли прародитель Адам, когда взял яблоко? Наверно, нет – ведь он не знал греха. А может быть, и да, ведь грех есть грех, и ему должно было стать неудобно.

Рассеянно думая об Адаме, Швейцер присел на корточки, запустил руку за унитаз и вытащил маленькую колбу с прозрачной жидкостью. Сосуд был закупорен шершавой стеклянной пробкой. Секунду-другую Швейцер колебался, решая, вылить ли зелье сразу, или все-таки отпробовать. Отзывы Коха наводили на мысли о мухах и слонах. Швейцер сделал выбор: он сел на стульчак, вынул пробку и с опаской поднес горлышко к носу. В ноздри ударил резкий лекарственный запах; Швейцер зажмурился и глубоко вдохнул. Голова закружилась, дверь кабинки скакнула в сторону. Слабея, он снова втянул в себя химию и откинулся, словно разом лишился костей. Пальцы разжались, колба выскользнула и громко хлопнула. Полубессознательный Швейцер хватал воздух ртом, не в силах отделаться от фантастической картины, которая была гораздо живее той, навешанной кухонным звуком. Тетка Леония переборщила с заваркой. Он видел просторный туннель, микроавтобус, руки, прикладывающие маску к лицу. Доктор Мамонтов захлопывает дверцу. Автобус мчится, туннель освещен цепочками огней, пахнет гадостью, которую выдумал Кох, но нет, эта крепче, Кох ни при чем. Кожанные ремни, захлестнувшие запястья и лодыжки, серебряный шприц. В автобусе много диких предметов, проводов, он несется, как бешеный, в туннеле светло и пустынно... и это не туннель, это...

...Швейцера подхватили под мышки.

– Швейцер, ради Бога! Что с вами?

Кто-то ударил его сперва по одной щеке, потом по другой.

– Я видел лаз, – пробормотал Швейцер.

– О чем вы? Давайте, поднимайтесь, надо уходить! Идемте, я вам говорю, Листопадов заметет осколки.

Швейцер открыл глаза и непонимающе воззрился на Коха, который держал его за плечи и чуть не плакал от ужаса.

– Вы целы? Голову не разбили?

– Все в порядке, – Швейцер встал со стульчака, и его тут же швырнуло влево.

– А, проклятье! – выругался Кох, ногой отворил дверь кабинки и потащил Швейцера наружу.

В коридоре тот отвел руки Коха, прислонился к стене и чуть-чуть постоял, приходя в себя. Химик неохотно отступил, лицо его было белым, как зубная паста; прыщи потемнели, сделались синими и походили на свежие пороховые следы.

– Все хорошо, – повторил Швейцер. – Не волнуйтесь, я сам дойду.

Из спальни уже выглядывала нетерпеливая физиономия Остудина. При виде возвращающихся она тут же скрылась, и до обоих долетел сдавленный вопль: «Идут!»

Их встретили настороженно, еще не зная, как отнестись к Швейцеру – герой он или раззява, если не хуже.

– Что там было? – спросил Пендронов, приглаживая вихор: похоже, ему снова досталось от Оштраха, вечного мучителя.

– Господа, я кокнул колбу, – Швейцер лег и уставился в потолок. – Мне стало плохо.

При этих словах Листопадов сорвался с места, схватил веник и совок и выскочил в коридор.

– Так вы небось три раза нюхали, – мрачно заметил Кох, который теперь злился на Швейцера. – Если не четыре.

– Два, – возразил Швейцер, не чувствуя в себе сил оправдываться и спорить. Кому он мог довериться? Разве Берестецкому, но тот так и не проснулся.

Оштрах, уперев руки в бока, приблизился к его койке. После Швейцера шла его очередь.

– Не думаю, – хмыкнул верзила. – По-моему, дело в другом.

«Ну, вот и оно, – подумал Швейцер. – Сказать им? Гори оно все огнем. Все равно про Раевского знают...»

Но он не успел. Оштрах сказал нечто, после чего никакие разъяснения стали невозможны. В лучшем случае они откладывались на потом.

– Вы трус, Швейцер, – заявил Оштрах. – Вы специально разбили колбу. Я подозреваю, что вы и дышать-то не стали, а просто прикинулись субтильной барышней. Обморок, ха!

И лицеист презрительно плюнул: редкий, исключительный знак презрения к собеседнику.

– А вы, Оштрах, просто подлец, – ответил Швейцер. – Вдобавок – безмозглый и злобный.

Храп Берестецкого смолк. Сгустившиеся тучи, чреватые ужасной грозой, вторглись в его безмятежные сновидения.

– Желаете драться? – Оштрах улыбнулся сострадательной улыбкой. – Извольте. Какое предпочтете оружие?

– Рапиры, – коротко бросил Швейцер.

– Господа, примиритесь! – жалобно крикнул Остудин, не любивший поединков и ссор, но Оштрах отмахнулся.

– Прекрасно, – он изобразил на лице ледяное спокойствие. – Время и место?

– Только не сейчас, – быстро вмешался Кох. – Вы не дойдете до рапир, сразу попадетесь.

Швейцер помолчал. Кох сказал правду: ночное безделье усиливало бдительность дежурных преподавателей. Никто, будучи в здравом рассудке, не стал бы устраивать дуэль ночью.

– После ужина, в девять, в гимнастическом зале.

К чему усложнять? Красть рапиры, нести их во двор, искать укромный уголок... Разумнее будет рискнуть и драться там же, где хранится оружие.

– Годится. – Оштрах развернулся и молча пошел к своей койке. Швейцер прикрыл глаза. Он неплохо фехтовал, но его противник недавно выиграл первенство Лицея по всем видам физической подготовки. Будь что будет, сейчас не это главное. В ушах Швейцера стоял мерный рокот мотора. В Лицее не было ни одного микроавтобуса, у них вообще не было машин. Ничего подобного Швейцер никогда не видел, но сразу узнал в видении, а значит – видел, но забыл, и очень прочно забыл. Запах вещества, которое приготовил Кох, был сродни какому-то другому аромату, и он вдыхал его там, в автобусе, если не раньше. И был еще тот самый легендарный лаз, который оказался благоустроенным сооружением, а вовсе не тесным подземельем, что начинается какой-нибудь лисьей норой и ею же заканчивается, но уже там, в тайге, за Оградой.

В следующий миг Швейцер попытался открыть глаза, но не смог.

«Завтра открою», – подумал он равнодушно.

– ... Спит! – удивленно прошептал Остудин. – Ему завтра кишки выпустят, а он спит. Похоже, что и вправду отравился.

7

– Попрошу встать, – голос отца Савватия был полон необычного подобострастия. – Позвольте представить вам господина Феликса Браго, члена тайного попечительского совета. Господин попечитель, рискуя жизнью и бессмертной душой, прибыл к нам с плановой инспекцией.

Что-то глухо обрушилось, но это класс, наоборот, встал. Таврикий, уступая власть, смиренно отошел в угол.

– Господь милостив, – почти пропел Савватий и вышел на середину. – Наша жертва пришла Ему по душе. Господин Браго принес нам хорошие вести: Враг терпит поражение за поражением. Кроме того, он привез нам сто пятьдесят пар солнцезащитных очков, и мы теперь сможем безбоязненно взирать на солнечное затмение.

Попечитель Браго слегка кивнул. Вид его заставлял вспомнить о Духе, Который веет, где хочет. Великой тайной казались мотивы, побудившие Духа веять именно в Браго. Господин попечитель отличался редкостным безобразием. Грузный, огромного – выше Савватия –

роста, похожий на жабу не только обрюзгшими чертами лица, но самим его цветом – землистым, с зеленым оттенком, почти навозным. Не было в лице и здоровья: глаза попечителя, темно-карие и выпуклые, были обведены насыщенными черными кругами. Гладко выбритые щеки лишь прибавляли мерзости, все у него дрожало и колыхалось, а безупречный, тщательно отутюженный костюм казался неуместным и неестественным, словно Браго был страшной куклой, которую разрядила на свой вкус малолетняя шалунья-великанша. В ушах господина Браго рос можжевельник, а брови, напротив, почти напрочь отсутствовали. Попечителя не спасал даже внимательный, умный взгляд: мороз пробирал при одной лишь мысли о возможном предмете его внимания и действиях, которые он совершит с этим предметом.

Появление Браго было, конечно, крупным событием – гости извне бывали в Лицее редко. Но лицеисты его ждали: после таинства Устроения их неизменно навещали всевозможные инспекторы и дарители. Из тех одиннадцати, что помнил Швейцер, только три не сопровождались высоким визитом.

– Добрый день, господа, – улыбка у Браго была фальшивой. – Господин ректор слишком щедр на похвалы. На все воля Божья, но я не могу согласиться с его истолкованием моего приезда. Господин ректор усматривает в этом великий промысел, но, право слово, сто пятьдесят пар очков – такой пустяк...

Ответом ему было почтительное молчание. Попечитель, сказав свою речь, смешался и явно не знал, что делать дальше.

– Собственно говоря, – нашелся наконец господин Браго, – я пришел просто посмотреть на ваши лица. Заглянуть в ваши глаза. Почувствовать единство с теми, с кем нация связывает свою последнюю надежду. И вижу, что не обманулся: на всех вас лежит Божья отметина. Вы – действительно Золотой Фонд России, ее стратегический резерв. Наша измученная страна поднимется с колен и достигнет полного соответствия своему Божественному прообразу...

– Они такие, господин попечитель, да, – поспешно вмешался отец Савватий, поскольку увидел, что попечителя вот-вот занесет в сомнительную софиологию. – Кого ни возьмешь – орел! Но не будем нарушать занятия, прошу вас пройти в канцелярию. Отец Таврикий, вы можете продолжать...

– Ухожу, ухожу, – засуетился Браго. – Я так и знал, что помешаю. Храни вас Господь, мои юные друзья. Я верю, что мы еще встретимся в более радостной обстановке, в обновленной стране...

Ректор подхватил его под руку и повел к двери. Феликс Браго, когда шел, немного прихрамывал; отец Таврикий выждал, пока за ними закроется дверь, и занял свое привычное место.

– Сядьте, господа, – разрешил он лицеистам, которые встали опять, провожая попечителя.

...Оказавшись в коридоре, Феликс Браго остановился, достал из пластикового пузырька таблетку и бросил под язык.

– Все хуже и хуже, – пожаловался он Савватию. – Я уж боялся, что не доберусь до вас.

– Все образуется. – Ректор лучезарно улыбнулся, что далось ему с трудом при общей направленности его мыслей и чувств. – Пойдемте в наши хоромы. Подальше отсюда – если бы вы знали, до чего мне надоели все эти феодальные моменты... Эта чертова ряса, – он захватил материю в горсть и с силой дернул. – Эта убийственная пропаганда...

– Но все окупается, верно? – заметил попечитель с некоторой насмешкой.

– Окупается. Но всех ведь денег не соберешь. Пора мне перевестись куда-нибудь поближе к людям, пожить в свое удовольствие – не подыхать же на сундуке со златом-серебром.

– Неужели так тяжело?

– Не то слово. Один, вообразите, пытался сбежать. Да бегали и раньше. Изловили на подступах к четвертой магистрали, еле успели.

– Вот как? – зажегся попечитель Браго и даже приоткрыл от любопытства рот. Все, что было связано с попытками урвать для себя нечто сверх отмеренного жизнью, вызывало в нем искренний интерес. – Что же с ним будет?

– Ну, это наше ноу-хау, – отец Савватий шутливо погрозил ему пальцем. – Не спрашивайте, уважаемый, не скажу. Пойдемте вниз – отдохнете с дороги, закусите.

Они спустились на первый этаж, прошли мимо кабинета доктора Мамонтова и уперлись в железную дверь, которая никогда не отпиралась при лицеистах. Ректор полез под ряску, под которой оказались толстые брюки в елочку, вынул ключ, повернул. За первой дверью оказалась вторая, тоже железная, с шифрованным замком. Савватий убедился, что Браго не подсматривает, набрал номер и надавил на стальную рукоятку. Дверь отворилась, и оба шагнули прямо в кабину лифта.

– У нас тут свой Лицей, – подмигнул Савватий, нажимая на кнопку под цифрой «2».

Автоматические створки сомкнулись, и лифт бесшумно провалился под землю.

Через две секунды ездки оказались в маленьком кабинете – неряшливом ужасно, хотя и богато обставленном. С полировкой обходились варварски, туша об нее окурки, пепельница в виде старинной чаши была переполнена. Резной, штучной работы стол, занимавший половину комнаты, пребывал в состоянии хаоса – не сам он, конечно, а то, что на нем находилось: распечатанные документы, сотовый телефон, все те же окурки, два пузатых бокала, компьютер, штук пять авторучек и столько же пластиковых карт, банковских и телефонных. Еще треть помещения отхватил диван, так что для пары глубоких кожаных кресел места почти не оставалось. В углу на полочке стояла видеодвойка, повсюду пестрели скользкие журналы, а воздух был многозначительный, сложный. На стене висел огромный календарь с одноклеточной девицей.

– У, с-сука! – отец Савватий сорвал с себя тяжелый крест и остервенело запустил им в угол. – Великое дело – расслабиться! Достал меня монастырь... Чувствуйте себя, как дома, здесь нас никто не услышит.

Браго брезгливо огляделся, колупнул ногтем кожу кресла, сел.

– А мне даже нравится вся эта старомодность... церемонии, выверты. Как-то неловко переходить на человеческий язык.

– Ну, стилизуйтесь... Простите за бедлам, но нора есть нора, она должна иметь жилой вид. Берлога, мать ее, логово! – ректор ухватил ряску и потянул через голову. Оставшись в гражданском костюме, он отпер дверцу встроенного в стену бара, достал martini, коньяк, блюдечко с нарезанным лимоном, фисташки. Немного подумав, заменил бокалы.

– Не надо бы мне, здоровье совсем плохое, – вздохнул Браго, принимая коньяк. Он прищурился на ректора: – Какой ваш настоящий сан?

– Такой же, какой у вас, – Савватий сделал свирепое лицо и вылил свой бокал в бороду.

– Понятно. И как вам только удастся? Ну, не буду, не буду. Я лишь одно хотел спросить и все забывал: откуда такие странные имена? Я еще понимаю – Гермоген, но Коллодий, Таврикий...

– Команда валяла дурака. Придумали для смеха.

– Неужели? Что же тут смешного?

– Можно, конечно, сочинить и позабористей, но выпили слишком много. Спеклись. Да и юноши не дураки, вмиг разберутся...

– Да-а, – причмокнул Браго и снова обвел взглядом кабинет. – Такая махина! Столько средств! Неужто анабиоз дороже?

– Во-первых, дороже, – отец Савватий закурил и загнул толстый палец. – Во-вторых, воспитание и культура имеют огромное значение. Я сам с трудом верю в материальность мысли, однако это уже доказанный факт: сознание влияет на оболочку. Совершенство есть совершенство, оно не может не быть всесторонним. Правила поведения, религия, образование – всякая,

как вы выразились, старомодность благотворно влияет на мозг. Кора больших полушарий – великая штука. Павлов знал, что говорит. Она не только управляет телом, но выполняет вдобавок трофические функции – питает мышцы, внутренние органы. И, конечно, наоборот. Танцы, письмо, гимнастика оказывают благотворное влияние на кору. Доктор Мамонтов практикует даже общий массаж... Короче, как сказали однажды всадники Апокалипсиса, все, что намечено Господом – выполним!

Объяснения ректора прервал телефонный звонок. Савватий взял трубу, вложил в ухо:

– Коллектор...

Попечитель Браго потянулся за бутылкой, налил еще. Ректор, послушав, закричал:

– А что мне ваши оптовики? Какое мне до них дело? У нас есть договор! Вот собаки! Скажите им, что по условиям договора они не смеют накручивать! Меня не касается электричество... И удаленный овулятор не касается! Извините, – сказал он попечителю, отключаясь. – На всем приходится экономить. Вообразите – у меня до сих пор нет заместителя по административно-хозяйственной части. Приличного, я имею в виду. То, что есть, это... – он плюнул и уставился на свои пальцы, два из которых так и остались загнутыми. – О чем мы говорили?

– Неважно, – махнул рукой Браго. – Я в этих делах ни черта не смыслю. Меня больше занимает их вера, преданность идее... Она замечательно подтверждает мои собственные мысли.

Ректор недоуменно пожал плечами:

– А что – вера? Во что скажут, в то и будут верить. Я мог бы представить вас не просто попечителем, а целым ангелом – и поверили бы...

– Вот-вот, я о том же. Как это все-таки по-русски... Не видеть ничего у себя под носом, все вдаль – Устроение! – он покачал головой. – Знаете, в чем ошибаются насчет России? Есть такое мнение, будто на Западе – все для отдельного индивида, у нас же – рой... Дескать, коллектив – это главное. Но как же Япония? Китай? Там тоже коллектив!

– Вы наливайте себе сами, – пригласил Савватий. – Могу приказать обед.

– Да не стоит. Все дело в том, – ответил сам себе Браго, любясь собой и с удовольствием выговаривая фразы, – что в той же Японии пусть муравейник, но если будет худо одному отдельному муравью, то худо будет всем. Муравью создают условия, его холят и лелеют... Жизнь единицы не важна, ею легко пожертвовать, но ради общего блага о ней должно заботиться. В Китае примерно то же, хотя и жестче. Вот вам и Восток! А как же Запад? А там то же самое: их демократия оформлена большинством отъездивших индивидов. Запад и Восток – одно и то же, произнесенное по-разному. Куда не плюнь – сплошной тоталитаризм, похуже ленинского...

– Ну, это не ново, – снисходительно возразил ректор и тоже сел в кресло. – Диалектика. Крайности всегда сливаются. Все может оказаться иначе. Потенциал России, может быть, так высок, что Господь ревнует, боясь, что она затмит Его своим совершенством, – потому и не дает бодливой корове рогов, не позволяет развернуться в полную силу, испытывает. В противном случае Царство Божие установилось бы уж слишком быстро, почти одновременно с возникновением российской государственности. Но я вас перебил. Что же, по-вашему, Россия? Не рой?

– Рой рою рознь, – усмехнулся попечитель. – В России индивид не учитывается вообще, вопреки всем разумным соображениям, вопреки даже требованиям роя. Личность всегда выносится за скобки, в потустороннее. И в вашем заведении так же. Важнее всего, что будет там, а тут перебежмся. Само по себе там допускается любое – Устроение, вечное блаженство, светлое будущее, прочая хрень, – Браго ни с того, ни с сего возмутился, что казалось странным, так как по всему было видно его восхищение собственным глубокомыслием. Это, впрочем, быстро объяснилось, так как он продолжил: – Родина-мать та еще мамочка! Наплодила деток – даровитые попадают! Только лучше бы им было всем того... Я ведь, дорогой мой, тоже не из Тирлимпурии... Больше всего меня волнует посмертное существование. Никто не может

спастись, и не хочет, ибо преобразование – не царская шапка на маковку. А если нас возьмут на небо такими же, как мы есть, то на что тогда второй, такой же, мир? Эх! Вот если б знали наверняка, что нет ничего – гуртом полезли бы животы пороть. А если б доказали обратное, было бы то же самое. Ну, может, животы были бы целы, хотя как знать, дело вкуса, кто резал – тот и дальше будет резать, сколько ни грози ему Судами. Остальные же скажут: ну и что, все равно, пусть все остается, как было – понастроят церквей, и вся утеха.

– Занятно, что вы так волнуетесь, – отец Савватий улыбнулся бокалу. – Значит, говорите, что посмертное существование вас интересует больше? Тогда зачем же вы к нам приехали?

Попечитель Браго уставился на него, не сразу сообразив, о чем идет речь. Поняв, засмеялся, погрозил пальцем.

– Шельма! – сказал он, войдя во вкус старорежимных оборотов. – Подловили, браво! Молчу. Уступаю вам слово, с нетерпением жду предложений.

– Какие ж у меня предложения? – ректор потянулся к процессору, запустил мотор. – Мне нужны ваши пожелания. Небось, присмотрели?

– А как же, – осклабился Браго.

– Ну, тогда поглядим.

Отец Савватий разыскал папку с личными делами лицеистов и дважды щелкнул мышью. Попечитель придвинул кресло поближе к экрану, и переговоры начались.

8

Драться на дуэли никто не умел. В Лицее этот предмет не преподавали. Более того – строжайше запрещалось прикасаться к рапирам вне уроков фехтования.

Кое-что, впрочем, было известно из книг.

Оштрах уже успел забыть о злополучной колбе, он увлекся новой затеей и совершенно запутался. По правилам в дуэли должны были участвовать секунданты и доктор. От доктора сразу пришлось отказаться, но с секундантами оказалось сложнее. Кто-то к кому-то должен был их посылать: сколько человек? Кто первый? И самое главное – зачем? Допустим, он направит к Швейцеру Остудина и Пендронову. Что же дальше?

Разрабатывать собственную церемонию времени не было. Швейцер демонстративно отказывался от обсуждения и вел себя так, словно предстоявший бой его совсем не касался. На вопрос Оштраха о секундантах он равнодушно пожал плечами:

– Делайте, как хотите.

Оштрах, любивший, чтобы все было, как в жизни (как в книге), взял хлопоты на себя и сам назначил Швейцеру секунданта. Им, конечно, оказался Берестецкий, с которым Швейцер был дружен. Больше желающих не нашлось, лицеисты трусили. Тогда Оштрах смирился с мыслью иметь при себе одного секунданта вместо двух и выбрал, как и думал, Остудина. В этой фигуре сомнений не возникало; Остудин был пронырлив, вездесущ, и даже страх наказания не мог излечить его от страсти хоть боком, хоть краем плеча влезть в дело, его абсолютно не касающееся. Пендронову решили поставить на часах.

– Свистнете, если что, – велел ему Оштрах.

– Но я не умею свистеть.

– Ну, топните, крикните – что угодно.

Берестецкий озаботился другим.

– Что же – вы насмерть собираетесь биться?

– Можно и насмерть, – вызывающе ответил Оштрах. – Это вопрос чести! Ладно, я вижу, что вы не хотите. Пусть будет до первой крови.

– Не забывайте, ваш противник недавно перенес операцию, – предупредил его Берестецкий.

– Я заложу за спину правую руку, – нашелся тот. – Буду драться левой. А Швейцер может сражаться, как ему вздумается.

– Я поговорю с ним, – пообещал Берестецкий недовольно. Ему не нравилась сама идея дуэли.

Швейцер легко согласился со всеми условиями. Он думал о Раевском, записке, Вустине, Враге, запахе эфира и диковинном микроавтобусе. Спросить было не у кого. Он все больше верил, что путешествие было как-то связано с недавней операцией и состоялось либо до нее, либо после. Скорее всего, и так и так, туда и обратно, но он вспоминал лишь «туда». Иначе никак не удавалось объяснить присутствие доктора Мамонтова, закрывавшего дверцу. Туда – это куда? Вероятно, в какую-то больницу, вида которой Швейцер, ни разу в жизни не знавший ничего подобного, вообразить даже не мог. Но были же раньше, до Врага, больницы! Может быть, доктор Мамонтов не справился сам и переслал его к специалистам? Может, какие-то больницы остались нетронутыми? В том факте, что педагоги как-то общались с внешним миром, секрета не было; на их стороне – Божья правда, им покровительствует Богородица, существуют тайные каналы связи, возможно – голубиная почта... Нет, голуби здесь ни при чем. Голуби не смогут поставлять провизию, одежду. И вдруг он вспомнил, что Раевского, незадолго до его побега, тоже лечили. Мамонтов вырезал ему из кишечника какой-то дьявольский полип. Но был ли это Мамонтов? Если Раевского куда-то возили, он мог запомнить больше, чем Швейцер. Неудачный наркоз, чья-то халатность – и готово.

В этой точке раздумий включились внутренние охранительные механизмы. Возник Саллюстий – не сам, а его живейший образ. Историк ритмично бил указкой в пол и выкрикивал: «Враг! Враг! Враг! Враг! Враг! Враг! Враг!...»

Швейцер задрожал. Была перемена, и он прогуливался под руку с Берестецким. Ангелы выводили что-то высоко-равнодушное, коридор осторожно гудел.

– Не бойтесь вы, – Берестецкий неправильно понял дрожь, охватившую товарища. – Все образуется. Вы же не раздумали драться?

– Нет, – ответил Швейцер. – Мне, может быть, и лучше будет в карцер...

Берестецкий посмотрел на него с удивлением.

– Почему?

– Так... Давно уж не был, посмотрю, что и как. – Швейцер хотел отшутиться, но шутка не удалась.

– Я, признаться, не думал, что вы о карцере. Разочарую: вас вряд ли туда посадят.

– С чего же вы так решили?

– А вы не знаете? Карцер очистили еще вчера. Там были трое из класса «В» – Лидин, Очковский и Постников. Всех выпустили, а им оставалось еще двое суток сидеть.

– Вот как. – Швейцер закусил губу. Все подтверждается! Еще не было случая, чтобы Савватий освободил кого-то досрочно. Система наказаний соблюдалась в Лицее очень строго.

– Да вы со вчерашнего дня словно бы не в себе, – заметил Берестецкий. – Лицей бурлит, а вы ничего не слышите. Как вы думаете, зачем выпустили этих троих?

– Трудно сказать, – пробормотал Швейцер, уже зная ответ.

– Освобождали место, – Берестецкий понизил голос. – Теперь там один Раевский, если Вустин не врал. Сообразили?

– Сообразил.

– Ну, то-то!

Берестецкий смотрел на Швейцера с торжеством. Тот не знал, как поступить – признаться ли? Его спас хор, который смолк на полуслове: начинался последний урок. Швейцер натянуто улыбнулся, высвободил руку и пошел в класс.

Итак, увидаться с Раевским не удастся, беглеца изолировали. На Вустина полагаться нельзя, дурак. Что ж, обойдемся без консультаций. Рассудим логически: где может быть вход в этот проклятый туннель?

Швейцер перебрал в уме все помещения первого этажа. Секретный кабинет отца Савватия, в который ни разу не ступала нога лицеиста, исключался сразу. Если вход существует, то он, конечно, должен быть именно там, и в этом случае становится недостижимым. Но могут быть и другие пути. Хозяйственные помещения? Прачечная? Нет, навряд ли. Стирают в Лицее, белье никуда не возят. Кухня! Вот это ближе к истине! Из кухни должен быть выход к продовольственному складу. А продовольственный склад вполне может вывести в туннель. Естественное предположение – надо же как-то подвозить продукты. Все, что требуется сделать, – улучшить момент, пробраться в кухню и найти черный ход. Но когда? Лицеисты всегда на виду, туннель наверняка охраняется солдатами Устроения. Швейцер вспомнил про молчаливых часовых на пулеметных вышках и поежился. Нужно выгадать так, чтобы все были захвачены каким-то делом. Ночь? Нет, не годится. Ночью контроль еще жестче. Во время службы? Тоже не подходит. В Лицее полно людей, которые ее не посещают. Надо дожидаться какого-то чрезвычайного события. Например, завтрашнего бала. Тоже сомнительно, бал соберет не всех. Можно, конечно, попробовать договориться с барышнями. Укрыться под юбками, сбежать... тьфу, глупость! Швейцер покраснел и быстро огляделся, боясь, что начал размышлять вслух. Но все было спокойно, отец Гермоген мурыжил бесконечного Толстого. Швейцер притворился, будто что-то записывает, и очень скоро отложил перо. Солнечное затмение! Вот единственная и неповторимая возможность! Сбегутся все, никто не останется в стороне – это во-первых. Во-вторых, на Лицей опустится ночь. Сколько времени это продлится – две минуты? Три? Пять? Ему придется постараться и попасть хотя бы на склад. При наихудшем сценарии, если его поймут, можно будет сослаться на приступ страха перед знамением.

План Швейцера и планом-то нельзя было назвать. Дерзкая выходка, демарш с неизбежным фиаско в перспективе, однако Швейцер инстинктивно понимал, что такие дикие, сумасбродные предприятия часто приводят к не менее фантастическому успеху.

9

– Учтите, я стукну только раз, – предупредил Пендронов, занимая место возле дверей, открывавшихся в гимнастический, он же танцевальный, зал.

Швейцер вошел первым; он ждал, что вид свеженатертого пола возбудит в нем тоску по солнечным дням чистоты и невинности – ведь он еще вчера, орудуя щеткой... Впрочем, нет. С тех пор уже многое успело измениться. Ослепительный паркет молчал, а в сердце Швейцера жила одна досада – не дай Бог, из-за этого глупого поединка все расстроится: ранят, убьют, поймают. А там, где прольется кровь, будут скользить невесомые чешки беззаботных девиц.

– Господа, – заговорил Берестецкий. – Я вынужден спросить: не хотите ли вы пожать друг другу руки? Швейцер, что скажете вы?

– Я не против, – ответил Швейцер. – Я готов простить оскорбление. Мне, может быть, стоит даже расспросить Коха и снова приготовить раствор, самостоятельно... Пусть все увидят, что колба разбилась случайно.

– Вы, Оштрах? – Берестецкий повернулся к обидчику.

– Говорю же, что он трус, – неуверенно и потому запальчиво сказал упрямый Оштрах. Против Швейцера у него уж давно ничего не было, ему просто хотелось подражаться.

– Тогда я пошел в кладовку, за рапирами, – сообщил Остудин, не оставляя врагам шанса договориться миром.

Швейцер пожал плечами, скинул сюртук и передал его Берестецкому. Тот принял сюртук и от Оштраха, так как Остудин отлучился, и второй дуэлянт не хотел стоять дураком, когда соперник уже изготовился к бою.

В зал просунулась голова Пендропова.

– Давайте быстрее, – сказал он нервно. – Там, в коридоре, все время кто-то шастает.

– Глаза намылю, – цыкнул на него Оштрах. – Кыш!

– А я вам писку пририсую, и яички, – выпалила голова и быстро скрылась.

– Ах, господа, господа, – пожурил их Берестецкий.

Остудин, прижимая к груди целую охапку рапир, разбежался и проехался по полу. Взломать кладовку было несложно, замок открывался обычным пером. Учителя, положившись на общую строгость надзора, не позаботились поставить другой, похитрее.

– Зачем так много? – удивился Швейцер.

– Так надо же выбрать, чтоб все было на равных.

– Что там выбирать, – Швейцер вытянул рапиру, согнул, отпустил распрямиться. – Идите ко мне, Оштрах. Я распишусь на вашей шкуре: одной буквы «Ш» вам хватит?

– А вам достаточно «Т», труса, – откликнулся Оштрах, беря клинок и отступая. – И штрихов меньше: два против четырех.

Швейцер принял стойку. Оштрах отсалютовал, намекая на дурное воспитание противника, и встал в боевую позицию.

– Ручку можете опустить, – заметил Швейцер. – Не надо обо мне тревожиться. Я в хорошей форме.

– Как скажете, – зловеще улыбнулся тот и переложил рапиру в правую руку.

Швейцер нанес удар, по залу прокатился дребезжащий звон.

– О, вон вы как! – Оштрах сделал выпад, и его соперник еле успел увернуться. – А этак не желаете? А так? А вот так?

Он запрыгал, наступая и размахивая клинком.

«Вот же болван, – подумал Швейцер, постепенно разъярясь. – Ведь он всерьез!»

Острие рапиры чиркнуло по его щеке.

– Туше! – крикнул Берестецкий. – Берегите глаза, господа!

Швейцер коснулся лица и мельком взглянул на окровавленную ладонь. Отбив очередной удар, он отступил еще на несколько шагов. Оштрах не давал ему спуска и теснил безжалостно.

– Моя роспись первая! – пропыхтел он, сдувая волосы с глаз. – «О» – хитрая буква! Пока только правый бочок...

Он снова ударил, и Швейцер почувствовал укол в плечо.

– Так, значит!...

Звон покатился вновь – громче и чище. Оружие едва не вылетело из пальцев Оштраха. Швейцер, не теряя времени, нанес удар, метя в живот, но враг ускользнул, и рапира попала в бедро. Швейцер пошел размашистым шагом, с широко расставленными и согнутыми в коленях ногами. Оштрах, слегка растерявшись, ушел в оборону.

– И – раз!

Рапира свистнула.

– Два!

Клинок рассек кожу на запястье Оштраха. Где-то послышался отчаянный стук.

– Стучат! – закричал Остудин испуганным шепотом. – Господа, бросайте оружие! Пендронов стучит!

Но дуэлянты уже ничего не слышали.

– Мерзавец, – прошипел Оштрах и бросился на Швейцера. Тот отпрыгнул, поскользнулся и чуть не упал. Рапира мелькнула в миллиметре от его виска.

– Ага! – воскликнул нападавший, и в тот же миг двери в зал распахнулись. Отец Саллюстий, волоча за ухо воющего Пендронтова, бежал к месту сражения.

– Вы что! Вы что! – кричал он, и тоже – шепотом. – Немедленно прекратить! Я приказываю вам остановиться, дети греха!

Саллюстий дежурил и пришел в полное бешенство, обнаружив, что дуэль – преступление вопиющее – случилась именно в его дежурство. Но бешенство перекрывалось неподдельным страхом. Историк отшвырнул Пендронтова, бросился к Швейцеру и стал отирать с его лица кровь, бормоча:

– Ах, сударь! Ведь вы же жизнью рисковали! ... Разве жизнь ваша – в ваших руках? Разве не знаете, что вы – не свои? Послание апостола Павла десять... двести раз перечтете, дайте только срок... Какие ж вы свои...

Тут он заметил, что Швейцер все еще сжимает рапиру; Саллюстий вырвал у него из руки оружие и бросил на пол. Перетрусивший Оштрах не стал дожидаться и бросил свою рядом.

– Слава тебе, Господи, вроде обошлось, – приговаривал историк, убеждаясь, что рана Швейцера – простая царапина. – А здесь? – он схватил лицеиста за плечо, рванул пропитавшуюся кровью рубашку. – Зовите доктора, негодяи!

Остудин пулей вылетел из зала.

Отец Саллюстий полез под рясу за носовым платком. Достав, промокнул плечо, отнял руку, прищурился на разорванную кожу.

– Вас не тошнит? Голова не кружится?

Швейцер, который все это время стоял столбом, помотал головой. Саллюстий перевел дыхание и обернулся к Оштраху:

– А вы? Преступный отрок! Вы не ранены?

– Нет. – Оштрах сглотнул слюну и быстро спрятал руку в карман.

– Что же вы не поделили? – учитель, видя, что дело не так страшно, приступил к расследованию.

– Мы их отговаривали, – встрял Берестецкий. Вид у него был несчастный.

– Вас не спрашивают. Итак, я жду?

– Я позволил себе усомниться в скорой победе над Врагом, – сказал Швейцер. – Но теперь уже вижу, что ошибался. Господин Оштрах проявил благородство и резко меня осадил. Я вспылел, и вот... – Швейцер прерывисто вздохнул. – Теперь я понимаю, что с такими воинами, как Оштрах, мы победим...

Саллюстий смотрел на него недоверчиво.

– Вы подтверждаете? – обратился он к Оштраху. – Все так и было?

Тот покраснел и неохотно кивнул.

Берестецкий увидел, что козлиная мордочка историка внезапно скривилась как будто в досадливом презрении, но это длилось лишь миг: в следующую секунду лицо Саллюстия просветлело.

– Вы еще совсем малые дети, – сказал он сокрушенно. – Мы не дождемся победы, если вы возьмете в правило устраивать поединки по каждому поводу...

Швейцер, чувствуя, что угадал, подался к нему:

– Но, господин учитель – ведь честь! ... Вы сами учили нас...

– Честь? – хмыкнул отец Саллюстий. – Да, это верно, но... я думаю, что мы вернемся к этому позднее.

В зал вошел доктор Мамонтов, за ним озабоченно поспешал Остудин.

– Что здесь такое? – закричал доктор еще от дверей. – Пять минут продержитесь?

– Больше продержимся, – ответил историк и хотел было вытереть со лба пот, но не нашел платка и не сразу вспомнил, что отдал его Швейцеру.

Мамонтов на ходу расстегнул чемоданчик.

– Не было печали, – заметил он весело. – Показывайте раны, господа. Кто у нас Дантес? Оштрах осторожно перешел влево, украдкой нащупал руку Швейцера и пожал ее.

– Я буду вам должен, – сказал он шепотом. – Простите меня, я в вас ошибался.

– Пустое, – ответил Швейцер одними губами. Дуэль была окончена, и он думал лишь, как бы выпутаться из отчаянного положения. Завтра – бал, послезавтра – солнечное затмение. Он согласен пожертвовать балом, пусть его накажут – только бы после он был совершенно свободен.

Он не почувствовал йода и не поморщился, когда Мамонтов ввел ему противостолбнячную сыворотку. Он думал, откуда доктор берет йод.

10

Таких насыщенных событиями дней лицеисты никогда еще не переживали. Им хватило бы одного Устроения, но вот – снова тревожный вечер, и даже страшнее, ибо никто не мог предсказать, чем закончится разбирательство. А завтра будет – если будет – бал, потом затмение; в пору было думать, что Враг вплотную приблизился к заветному порогу, пришли последние времена, приехала четверка всадников на библейских конях, хотя каждое событие, взятое отдельно, не представлялось таким уж крупным – разве что затмение. Но и там, если верить астрономам, не стоит ждать ничего сверхъестественного; сие лишь только знак, а знак – земное, человеческого разумения дело.

Дуэль получила немедленную огласку. О ней шептались с утра, но весть о том, что дуэлянтов застигли *in flagranti*, воспламенила Лицей. Вечернюю службу отменили, вместо нее назначили общее собрание – тоже в церкви, за неимением другого места. Лицеистов будоражил факт, что драчунов до сих пор не тронули, не посадили под замок, не бросили в карцер. Теперь имя Раевского было у всех на слуху; многие смекнули, что в карцер никого не направляют именно из-за него. Масла в огонь подлил Вустин, который не выдержал и продолжал трепаться об уже безвозвратно съеденной записке. Подавляющее большинство воспитанников склонялось к мысли, что Раевский безнадежно болен и действия его полностью контролируются врагом. Кто-то попытался приплести сюда приезд попечителя, но Браго отбыл тайно, не простившись, и никто не видел его отъезда. Дальше этого догадки лицеистов не шли, особенный опыт был у одного Швейцера. Многие подходили к нему, пожимали руку; то же происходило с Оштрахом. Иные сторонились, боясь заразы: драки считались серьезным грехом – «не убий!», а тут почти убийство, в подготовке которого трудно было не заподозрить незримое присутствие Врага. Все сходились в том, что Оштраха и Швейцера ждет тщательное медицинское освидетельствование. Больше других переживал Кох, который опасался, что откроется причина поединка. В православных порядках, принятых в Лицее, временами угадывалась рука католической инквизиции. Если доктор Мамонтов не удовлетворится рассказами дуэлянтов, за дело возьмутся отцы. О ректорской манере вести допрос ходили легенды.

Тем большее удивление вызвало сравнительно мирное развитие событий.

Было очень странно видеть учителей, выстроившихся перед алтарем. Это напоминало авангардную театральную постановку, хотя в Лицее, конечно, не видели ни одной. Казалось, что сейчас начнется служба, но службы не было. Ректор явился последним; он не стал откладывать дела и сразу взял себе слово. Савватий пытался быть грозным, но многие уловили в его лице необъяснимое довольство. Если бы не сама речь, то можно было подумать, что ректора буквально распирает от счастья.

– Я буду говорить кратко, – начал отец Савватий, заложа руки за спину. Он вздумал прохаживаться взад-вперед, машинально, и этим пуще подчеркнул дикость обстановки. Еще чуть-чуть, и атмосфера театра сменилась бы картиной вторжения в храм чужеземных пришельцев. –

Я, как вам известно, неважнецкий оратор. Сегодня в наших стенах произошел вопиющий случай. В его причинах нам еще предстоит разобраться. Вы все знаете, о чем идет речь.

И здесь со Швейцером и Оштрахом случилось нечто удивительное. По понятным соображениям оба они старались затеряться в гуще воспитанников. Но стоило Савватию заговорить, как неизвестная сила принялась мягко, но властно выталкивать их вперед. Швейцер даже огляделся, пытаясь выяснить, кто из лицеистов его толкает, но никто не толкал, каждый отводил глаза, а их все тащило и тащило к ректору. Они сделались неразрывными в привычной среде, среда отторгала дуэлянтов десятками анонимных локтей. Отторжение было неумышленным, бессознательным; любой лицеист, возникни в том надобность, бросился бы в драку и защитил дуэлянтов – если бы, скажем, появился Враг или его прихвостни... Однако Враг не появлялся, и воспитанниками управляло инстинктивное чувство самосохранения.

– Но я не хочу никого наказывать, – продолжал Савватий. По церкви пролетел шелест. – Достопочтенный попечитель господин Браго принес нам хорошие вести. Молитесь о его здравии, прославляйте Господа и благодарите счастливое стечение обстоятельств. Враг отступает; последнее Устроение подвигло Создателя на мощный удар по его логову. В этом отчасти – ответ одному из забияк, который озвучил свои пораженческие настроения... Все мы бываем подвержены минутной слабости. Я сознаю, что делом чести его оппонента было решить вопрос так, как он стал решаться. Но это не выход, господа лицеисты! Вы слишком юны и горячи, вам свойствен однобокий подход к требованиям чести. Сейчас я передам слово почтенному отцу Саллюстию, который лучше меня разъяснит вам сущность этого понятия. Я, повторюсь, недостаточно владею общей риторикой... Отец Саллюстий, я вас прошу.

Ректор широко выбросил руку, приглашая историка. Саллюстий коротко поклонился и ступил вперед. Губы его дрожали, глаза метали молнии, в пальцах приплясывала затертая записная книжка.

– Господин ректор говорил тут о попечителе Браго, снисхождении небес и прочих вещах, которым вы якобы обязаны неслыханной поблажкой и прощением, – заговорил Саллюстий тихим, страшным голосом. – Но это не главное, да простится мне. Это не главное! Здесь поднят вопрос о чести, и господин ректор ответил вам, поступая в согласии со своим пониманием этого слова. И это понимание истинно – в отличие от вашего. Да, чада, Враг действует подло! Он в силах исказить даже самые высокие и благородные понятия. Ему ли не знать, что мы, занятые сохранением Фонда Нации, воспитываем вас именно в духе чести, уважая и продолжая бессмертные российские традиции. В обновленной России будет один закон – честь! Честь в каждой мелочи и в каждом крупном деле. Вы – будущие спасители страны и мира от прошлого лиха, вы – офицеры, воины, освободители! Вы – женихи невесты-родины. Но до этого надо дожить. А умереть, погибнуть на дурацкой дуэли во имя собственных оскорбленных амбиций будет, напротив, попранием всяческой чести! Вы глупы и неопытны, вас нужно учить и учить, и тыкать носами в лужу, как породистых щенков! Что вы знаете о чести?

Голос историка, как и следовало ожидать, набрал полную силу. Но Швейцера его выступление почему-то не забирало, хотя, казалось бы, он должен пасть на колени и слезно благодарить педагогов и Бога за незаслуженное прощение. «Опять экстаз начнется», – подумал Швейцер с неожиданным отвращением и мрачно взглянул на бороденку Саллюстия, мокрую почему-то. Испугавшись собственных мыслей, он набрался кротости и стал внимать дальше.

– Давайте разберемся с этой честью. – Саллюстий как будто слегка успокоился, но это спокойствие было обманчивым. В церкви стояла могильная тишина. – Что она такое? Вот, слушайте, – он раскрыл свой цитатник и начал зачитывать из Достоевского: – «Слово честь значит долг». Но это уже неверно! Здесь игра словами, ответ влечет за собой новый вопрос: что есть долг? И так без конца, если мы не приучимся смотреть в корень понятий и явлений. Послушайте теперь меня: честь – это воля, имеющая форму идеи. О чем вы думали, беря в руки рапиру? Оштрах, я к вам обращаюсь!

Оштрах был красен.

– Я... готов был жизнь положить, – пролепетал он.

«Врет», – Швейцер возмущенно крикнул – про себя.

Но историк был полностью удовлетворен ответом.

– Золотые слова! Вы правы, честь – как и всякая идея – выше жизни, но все идеи и замыслы в руках Создателя. Вам ли постигать их во всей взаимосвязи? Вы умалили честь, низвели ее до потакания мелкой, случайной прихоти, когда стали претендовать на обладание ею во всяческой полноте. Но Павел рек, что «мы не свои». У нас нет никакого права самолично распоряжаться собственной жизнью. Чем ваш поединок лучше самоубийства? Какую-то такую опасность устраняли вы, Оштрах, нанося удары вашему товарищу? Он что – Враг во плоти? Диверсант? Вредитель? А вы, Швейцер! Если я еще могу хоть сколько-то понять действия вашего противника, то вы-то, вы за что сражались?! Не могу поверить, что вы отстаивали точку зрения, ошибочность которой столь очевидна, что вы и сами, уверен, к тому моменту ее осознали. Что же двигало вами? Я знаю, что, Швейцер. Это гордыня в одной из самых коварных разновидностей...

Он не закончил. Так получилось, что в памяти Швейцера вспыхнула очередная сверхновая. На сей раз это был не микроавтобус и не чужие врачи, Швейцер увидел белую дверь с табличкой – больше ничего. Табличка висела на гвоздике – картонная, грязноватая; надпись была сделана от руки, словно в шутку. Написано было следующее: «В. В. Сектор».

Швейцер согнулся, и его вырвало.

«Это просто радости страсти, шалости подсознания, – убеждал он себя. – Владимир Набоков, „Ada or Ardor“».

Вокруг забежали, примчался спасительный доктор Мамонтов. Дежурный лицеист притащил тряпку и стал убирать.

– Господь с вами, – безнадежно махнул рукой Савватий, отстраняя историка. – Мир вам, можете разойтись. На первый раз будем считать вопрос исчерпанным, но если такое случится вновь, виновники узнают, что такое преисподняя и вечное пламя.

С преисподней ректор погорячился, однако вскоре ему выпал случай сдержать свою угрозу. Это происшествие окончательно запутало лицеистов и породило новые толки. Незадолго до отбоя отец Савватий, вышедший по какой-то надобности в коридор, наткнулся на Листопадова. Тот, в кои веки раз изменяя своим привычкам, воспользовался поздним часом и вздумал съехать по перилам – прямо под бороду ректора. Это оказалось последней каплей, и Листопадов был незамедлительно заключен под арест, но его направили не в преисподнюю, а в карцер.

11

«Может быть, все же сегодня?...»

Швейцер стоял перед мучительным выбором. Его не покидало тяжелое предчувствие какой-то беды. Входя в ослепительный зал, он понимал, что танцор из него нынче никудашный.

Рвота – тревожный симптом, и из церкви Швейцер отправился на очередное обследование. Доктор Мамонтов вел себя странно. Конечно, он выслушал Швейцера, взял новые анализы, помял живот, но пациенту казалось, что от него ждут чего-то иного.

– Да, да, – кивал доктор Мамонтов, заранее соглашаясь со всем, что скажет Швейцер.

И бросал на него непонятные, быстрые взгляды. Тот предполагал, что с таким расстройством его непременно положат в изолятор, но доктор зачем-то уколол его сложными витаминами, велел зайти снова в случае чего и распрощался. Он почти вытолкнул Швейцера за дверь, как будто не желал его видеть.

В спальне Швейцер узнал про Листопадова и вконец растерялся. За перила – карцер, за дуэль – обычная выволочка?

К нему бросился Оштрах; недавний противник выказывал знаки столь глубокого расположения, что становилось неловко.

– Это не от шпаги, Куколка? – взволнованно спрашивал Оштрах. – Не из-за меня? Что вам сказал Мамонтов?

– Нет – я, верно, что-то съел, – ответил тот подавленно. Между прочим, и правда – что с ним случилось? Неряшливая табличка означала нечто тошнотворное – настолько гнусное, что даже не требовалось помнить ее смысл. «И на том спасибо», – подумал Швейцер, вздрагивая. Он больше не хотел вспоминать.

Неприятность с Листопадовым добавила размышлений. Выходит, карцер был пуст? Вчера был занят, сегодня – нет. Это значит, что Раевского уже нет в Лицее. Его куда-то переправили – возможно, в сопровождении Браго. Швейцер и сам не знал, почему он так решил; эта гипотеза родилась внезапно, без видимых причин; чуть же подсказывало, что он недалеко от истины. Может быть, что-то расскажет Листопадов. Хотя навряд ли: даже если Раевский оставил запись на стене, ее наверняка смыли. Педагоги внимательно следили за «тюремной» перепиской и никогда не пропустили бы такой улики. Кроме того, карманы пленника наверное обшарили и отобрали все лишнее – в том числе карандаш. Карандаш у Раевского был, судя по записке. Бог с ним, с карандашом. Даже если Раевский как-то исхитрился и оставил послание, Листопадов может его не заметить. Да Листопадов и не тот человек, что расскажет, даже если прочтет.

Внезапно до Швейцера дошло, что на него смотрят. И правда – стал столбом, как истукан, а между тем уж наследил достаточно и сам взят на карандаш: да, он должен думать вот об этом одном карандаше, и ни о каком другом, иначе доиграется. Он поспешил на мужскую половину зала. Лицейсты по случаю бала сняли школярские сюртуки, натянули парадные мундиры. В глазах рябило от зеленого сукна, алых погон и позолоченных аксельбантов. Сверкали зеркальные сапоги, крепко и сладко пахло грубоватыми духами. У противоположной стены расселись барышни. Они, как всегда, появились внезапно. Секунду назад было пусто, и вот уже по лестнице поднимается чинная процессия: лифы и юбки-колокола, розовое и голубое, шуршание вееров, парикмахерские башни, банты, «ножку ножкой», чешки-туфельки, массивные заколки и крашенные перья сомнительных птиц. Румяна, тени и тушь, перчатки по локоть, лучистые серьги, кокетливые мушки. Барышни сидели чинно, как и положено барышням; их опекала суровая особа в полумонашеском одеянии. Она наводила лорнет, кривила губы, грозила когтитым пальцем. Барышни шептались и делали вид, что вовсе не интересуются кавалерами. Кавалеры, в свою очередь, громко и попусту смеялись, поминутно приглаживали волосы и поводили плечами, которым было непривычно в тесных мундирах. Сияли начищенные пуговицы; отдельные лицеисты то и дело подходили к столикам с напитками и сладстями, наливали себе сидро, но поначалу ничего не ели, боясь крошить на пол или перепачкаться кремом. Многие потели, особенно нескладный Вустин; запах пота вливался в общую парфюмерную гамму и уверенно отвоевывал первенство.

Вся эта праздничная роскошь выглядела пустяком в сравнении с обновленной внешностью преподавателей. Отцы-педагоги образовались в оркестр – и нарядились соответственно. Оставив дежурным отца Пантелеймона, они сменили повседневные рясы на трико, причудливые камзолы, озорные шапочки с утиными козырьками, широкие пояса. Это отвечало их представлениям об эстраде и веселье вообще; трико и камзолы были усыпаны блестками, к чулкам-сапогам прицепили маленькие острые шпоры. Отец Савватий нахлобучил цветастый цилиндр и подвел глаза; он был саксофон, и уже давно примеривался к мундштуку огромными губищами, похожими на губы сома. Шелковые панталоны обтягивали невероятный ректорский зад. Борода была расчесана надвое, пальцы унизаны перстнями. Отец Саллюстий

нарядился в тирольскую шляпу с перышком и безрукавку на меху: он кого-то изображал. Его инструментом оказалась скрипка; историк прохаживался по авансцене, помахивая смычком и сдерживая жидкие смешки. Таврикий сидел за фоно, закутанный во что-то полосатое и радужное. Чернильный палец ударял по «ля», зависал и снова бил. Еще одна скрипка была у отца Коллодия; этот, широко раздвинув ноги, сидел за пюпитром и настраивался. Для пушного юмора Коллодий продел себе в нос огромную серьгу с бриллиантом, которая полностью стирала его блеклое, безбровое лицо. Отец Гермоген сосредоточенно, как будто искал дырочку, вертел бубен, сонный Маврикий пощипывал бас; доктор Мамонтов, утверждавший, что балльные танцы развивают гормональную систему и вдобавок являются профилактикой гомосексуализма, был переодет арлекином и хищно поглядывал на вверенные ему барабаны.

В зале было жарко. Швейцер взял стакан с газировкой и прикинул, стоит ли ему вообще танцевать. «Неужели сегодня?..» Внутренний голос подсказывал ему, что танцевать придется – для пользы же дела. Швейцер пока не знал, чем сможет помочь ему какой-нибудь вальс, но видел, что выглядеть белой вороной еще опаснее. Положившись на случай, он присоединился к Берестецкому и Коху, которые над чем-то смеялись. Кох держался неестественно и походил лицом на призрак: маскируя прыщи, он перестарался с пудрой. Чистенький, подтянутый Берестецкий мог быть спокоен, его кожа была гладкой, как глянцева бумага. На балах он всегда оказывался фаворитом, но не задавался, вел себя скромно и просто. Швейцер, который уже не мог терпеть и готов был раскрыться перед кем угодно, избрал бы Берестецкого в первую голову, но эта вот сугубая, если закрыть глаза на постоянные опоздания, правильность его останавливала, отпугивала. В том, что он мог сообщить Берестецкому, не было ни грана правильности. Тот попросту не поймет, о чем речь, – не умом, умом он не обижен, не поймет нутром. Вежливо удивится, искренне обеспокоится...

Саллюстий с силой вжикнул смычком по струнам, подавая сигнал.

– Господа, мы начинаем! – объявил он пронзительным голосом. – Мероприятие, угодное Богу и полезное для общего подъема нравов. Во избежание грехов содомских и гоморрских... и чтоб проникнуться естественным очарованием и романтическим взаимным влечением... в общем, господа – мазурка!...

Грянула музыка. Танцы ставил доктор Мамонтов; хореограф из него был очень средний, если не хуже. О балльном церемониале он имел смутное представление, и руководствовался старыми книгами и историческими фильмами. Саксофон, бас-гитара и ударные инструменты превращали классические танцевальные мелодии в нечто фантастическое. Ректор, на секунду выплюнув мундштук, достал хлопушку и дернул бечевку: раздался грустный хлопок, разлетелось облачко конфетти, в зал прыгнула одинокая лента серпантина. Обозначив веселье, Савватий вернулся к саксофону и затрубил с утроенным старанием.

Швейцер заметил ничем не выделявшуюся девушку с капризным лицом. Прежде он ее не видел, а может быть – не запомнил. Швейцер не надеялся вытянуть из нее сведения о тайных тропах, ведущих в Лицей извне, – все равно не скажет. Ему не хотелось быть на виду; каков кавалер – такова будет и дама. Когда отгремела мазурка и зазвучал вальс, он быстро подошел к ней и отрывисто кивнул.

Барышня утомленно переглянулась со своей товаркой, поджала губы и с напускной неохотой ступила вперед. Реверанс ее был холоден и ничего не обещал. Даже через корсет Швейцер почувствовал, как напряглась ее спина. Они закружились в танце; дама смотрела вбок, и он видел, что должен что-то сказать.

– Моя фамилия Швейцер, позвольте представиться, – обратился Швейцер к костлявому плечу.

– Мы из Волжиных, – равнодушно отозвалась партнерша.

«Мы, – в который раз поразился Швейцер. – Чему их там учат?»

– Как вы находите убранство зала?

– Мило, – девица издевательски фыркнула.

– Это я натирал полы, – брякнул он, и мадемуазель Волжина посмотрела на него, как на идиота.

– В самом деле?

– Честное слово. – Швейцер споткнулся, и дама невольно переступила лишний раз.

– Простите, я был нездоров, – пробормотал он, кляня себя на все лады.

– Вас оперировали? – Волжина, наконец, повернула к нему лицо, выказывая заинтересованность.

– Да. – Швейцер поудобнее перехватил ее руку. – Но все уже зажило.

Барышня промолчала. Дальше кружились без слов; на щеках дамы начал проступать румянец.

«Проклятье, я что-то не то говорю, – подумал Швейцер. – Дам полагается развлекать. Как же мне быть, если ничего не лезет в голову?»

Он не чувствовал в себе никакой романтики, обещанной Саллюстием.

Пары вращались, мутно отражаясь в мастике. Зеркал не было; от этого бал больше походил на собственную репетицию. Мамонтов сочно постукивал в барабан, отмеряя ритм; наконец дождались – кто-то упал, послышался смех. Свалился, конечно, Вустин, и чуть не увлек с собой даму; та, негодуя, уже шла от него прочь и яростно обмахивалась веером.

– Он всегда такой бегемот? – осведомилась Волжина.

– Иногда, – пробормотал Швейцер.

Вальс быстро свернули; оркестр изготовился к польке.

– Какой вы скучный, – презрительно сказала Волжина. – Принесите мне пирожное!

– Сию секунду. – Швейцер почтительно поклонился и поспешил к столику, радуясь короткой передышке. Блюдо с пирожными успело опустеть, все было съедено.

«Вот оно!» – сверкнула молния.

Швейцер вернулся бегом.

– Обождите немного, – он натянуто улыбнулся барышне. – Сейчас я сгоняю на кухню и принесу.

Его усердие было встречено с благосклонностью; Волжина вздернула носик и чопорно прикрыла глаза: ступайте, и поскорее.

Швейцер выскочил из зала. За спиной затоптали, но это была не погоня, а танец.

«Маловероятно, – стучало его сердце. – Маловероятно. Маловероятно.»

Он кубарем скатился с лестницы и бросился к столовой. У входа замедлил шаг, изобразил – довольно бездарно – невинность, пригладил растрепавшиеся волосы.

В столовой никого не было; за окошечком раздачи клубился пар. Что-то звякало и глухо гремело, но не рядом, а вдалеке. Швейцер прошел между столами, осторожно повернул дверную ручку. Дверь подалась, и он шагнул в просторное помещение, загроможденное плитами и баками. В топках трещало пламя, пахло капустой и гречкой.

Хотелось бы знать: он уже преступник, или еще нет? Шагнул ли он за грань?

В ту же секунду он увидел то, что искал: железную дверь, которая вела в какое-то другое место. Она была одна, и выход мог быть только через нее. Амбарный замок был отперт и висел, зацепившись дужкой за отверстие засова. Из замка торчал ключ. Это означало, что побег возможен лишь днем, ночью дверь запрут.

– Что вы здесь делаете? – послышался сзади злобный голос.

Этого следовало ожидать. Швейцер подпрыгнул и обернулся: перед ним стоял повар, уса́тый мужчина лет пятидесяти, в грязно-белом халате и с мятым колпаком на голове.

В Лицее, помимо преподавателей, было много людей, занятых на хозяйственных службах – механиков, уборщиков, поваров. И, разумеется, вооруженных охранников. Они никогда не общались с воспитанниками, это строго запрещалось. Лицеистам говорили, что все эти люди

так или иначе пострадали от Врага и могли навредить молодому рассудку случайно оброненным словом.

Наивно было думать, что бал остановит их работу, все были на местах.

– Я за пирожным, – ответил Швейцер, удивляясь собственной наглости. – У нас кончились пирожные.

– Ну, и нечего здесь делать! – повар распахнул дверь, в которую тот только что прошел. – Извольте удалиться! Пирожные сейчас подадут.

– Спасибо... – Швейцер, не дожидаясь повторного приглашения, прошмыгнул мимо повара.

– Моду взял шастать, – проворчали за спиной. И тут же крикнули кому-то: – Эй, умерли, что ли? Пирожных господам!

Не веря в свое спасение, Швейцер взвился по лестнице и вновь очутился в зале. Полька сменилась новым вальсом; Волжина, красная от смущения, что-то объясняла своей наставнице. Монашка смотрела то на нее, то на вход; при виде Швейцера она указала на него пальцем и опять задала какой-то вопрос. Волжина проследила за пальцем и с явным облегчением закивала: это он!

– Сейчас принесут! – выпалил Швейцер, останавливаясь перед ними.

И страшное напряжение не замедлило сказаться: он схватился за виски, застигнутый уже знакомой аурой, похожей на предвестницу эпилептического припадка. Дверь с табличкой «В. В. Сектор» распахнулась, из-за нее вышел сердитый человек с птичьим лицом. При виде таблички он рассвирепел и начал орать: «Снова? Достали своим стебом, придурки! Здесь же ходят посторонние, черт вас возьми! Шутники хреновы, оторвы...» Он дернул табличку, швырнул ее в угол и начал таять.

«Только б не упасть», – пронеслось в мозгу Швейцера. Новый припадок поставит крест на всей затее.

В зал вкатили тележку, нагруженную сладостями.

– Вы так побледнели, – донесся голос Волжиной. – Вы больны?

Швейцер взял себя в руки.

– Нет, что вы! – он чуть ли не взвизгнул, и его партнерша слегка отпрянула. – Что там у нас, вальс? Позвольте вашу руку, сударыня.

Та неохотно подчинилась.

Но музыка тут же стихла.

– Антракт! – с притворной строгостью крикнул ректор, обмахиваясь цилиндром. – Угощайте дам, господа лицеисты. И говорите только по-французски!

– Вот еще, – Волжина сморщила нос, но тут же сказала: – Tenez, on a bien vu quelque chose?

– Permettez-moi de vous demander ce que vous avez vu?²

Она взяла Швейцера под руку, и они медленно двинулись к тележке.

– Вертолет, – шепнула та, подавшись к его уху.

– Как? – Швейцер не поверил. – C'est pas possible.

– Si, c'est bien possible. Mais ne dites rien: on ne peut pas parler.³

– Но вертолетов давно уже нет. Враг уничтожил всю авиацию, – он окончательно перешел на русский язык.

– А может, это Враг и был. Он пролетел прямо над нами, похож на стрекозу. Страшный! А на боку – звезда, красная.

Швейцер остановился.

² А мы что-то видели! – Что же вы видели, позвольте спросить? (франц.).

³ Этого не может быть. – А вот и может. Только молчите, нам не велели говорить (франц.).

– Он же мог вас расстрелять, – проговорил он испуганно. «Значит, все-таки через тайгу шли, по поверхности».

– Но не расстрелял же.

– Или облучить чем-нибудь.

Теперь побледнела Волжина.

– Что вы такое говорите! Не надо так, со мной может быть обморок!

– Простите, – смешался Швейцер.

Но Волжина уже раскаивалась, что рассказала.

– Поклянись, что это не пойдет дальше! Если мать Саломея узнает, меня посадят в карцер.

– Я вам клянусь. А что – у женщин тоже есть карцер? – Швейцер сменил тему.

Они дошли до тележки, Волжина взяла эклер.

– Есть, – ответила она с набитым ртом. – Вообразите – там крысы!

– Это ужасно.

Швейцер удивлялся своему спокойствию. Все было за то, что он уже привык и его не проймешь даже сногшибательной новостью о вертолете.

– Знаете, – сказал он, отпивая сидро, – очень возможно, что это наши. Господин ректор сообщил нам о крупных победах. У нас недавно было Устроение, и Бог укрепился в желании помочь правому делу. Врага оттеснили, а вертолет – счастливый трофей...

– Тише вы! – прошипела Волжина. – Кричите на весь зал!

Швейцер, спохватившись, прикрыл рот. В уме он просчитывал, не мог ли его микроавтобус на деле оказаться вертолетом. Нет, они ехали по земле. Если потом и летели, то в памяти это не сохранилось.

Он посмотрел в сторону оркестра: отцы перекусывали за отдельным столом, и ректор что-то разливал из маленькой фляги. Все шло к тому, что перерыв затянется надолго – так шло из бала в бал. Другие лицеисты стояли группками и отдельными парами; они вели вымученные разговоры с подругами. Мать Саломея сидела на женской половине, как изваяние. Отец Савватий несколько раз звал ее к столу, показывая зачем-то фляжку (что в ней было?) но та лишь качала головой и оставалась сидеть.

Швейцер почувствовал, что уже ненавидит Волжину. Вот жаба! Жаба безмозглая.

Волжина вовсе не была похожа на жабу, но он упрямо твердил про себя: жаба! жаба!

Однако светскую беседу полагалось продолжить.

– А вам уже делали операции? – с фальшивым интересом спросил Швейцер.

– О да, – Волжина прикрылась веером и сделала глупые, страшные глаза.

12

...Разошлись к полуночи.

Мать Саломея ударила в ладоши, и барышни, вмиг бросив кавалеров, слетелись к ней и выстроились в строй.

– Прощайте! – крикнул кому-то Берестецкий, маша платком.

Ему не ответили. Дамы перешли в иное измерение.

Швейцер вытирал лоб. Танцы его утомили; несколько раз он – без особой надежды – принимался задавать партнерше наводящие вопросы, упоминая невзначай то табличку, то наркотики, то посторонних врачей и сестер. Реплики Волжиной были скучны и бесцветны; Швейцер понял из них одно: в женском Лицее есть своя каморка, медицинский кабинет сродни тому, где хозяйничал Мамонтов, и воспоминания гости не выходили за рамки этого кабинета. Тогда Швейцер прекратил расспросы, и остаток вечера они танцевали молча, как куклы, следуя раз

и навсегда установленному канону. Волжина выглядела разочарованной, хотя было непонятно, на что она рассчитывала и чего ждала от кавалера.

Швейцер, конечно, читал и слышал многое о надеждах и ожиданиях дам, но в Лицее о том невозможно было помыслить. Невозможно настолько, что никто и не мыслил, а пришедшие барышни не воспринимались как объекты последних в своем роде желаний, за которыми – тьма; они будоражили воображение, возбуждали тревожное волнение, будили предчувствия, но все дальнейшее содержалось за семью печатями.

На этот случай каждый лицеист вел секретный альбом, в котором, впрочем, не было никакого секрета, и даже напротив – вести его в свое время деликатно подсказали отцы. Они не приказывали, они осторожно намекнули, сообщили воспитанникам мягкий толчок. В альбом переписывались любовные стихи, туда же срисовывались сердечки, рыцарские эмблемы и гербы, которые хоть сколько-то ассоциировались с ухаживанием. Альбомы прятались от чужих глаз; лицеисты показывали их только самым верным друзьям, поверяя им невинные, смешные тайны и мучаясь раздумьями, что бы еще такое втиснуть в альбом, чтобы достроить некое призрачное здание, замок. На самом деле замки строились – и никогда не достраивались – в душах; альбомы были зыбким отражением этого беспомощного долгостроя, а может – руин.

Музыкантов как ветром сдуло. Пробей часы – и вышло бы как в сказке про Золушку, когда кареты превращаются в тыквы, лакеи – в крыс, и так далее, но сказка, как вечно бывает со сказками, прошла стороной, и все обернулось прозой. Швейцер ушел с бала ни с чем – если брать один бал, в прочем смысле его знание умножились. Табличка, кухонная дверь, вертолет: отлично, будет, с чем разобраться, но это – завтра. Когда на тайгу упадет тьма, он попытает счастья.

В спальне он сел на кровать, достал из тумбочки альбом и сразу положил обратно. Волжина не стояла специальной записи. Вместо альбома он вынул другой предмет: маленькую черно-белую фотографию. На снимке была мать Швейцера: призрак, незнакомка, существо из другого мира. Белокурая женщина лет тридцати смотрела прямо перед собой. Саллюстий, когда Швейцер показал ему снимок, сказал, что фотография была сделана для документа – паспорта. Этим объяснялись невыразительность взгляда, строгость прически, нетронутый белый фон. Швейцер слыл счастливецом: у него была настоящая фотография, другие не имели и того. У Коха, к примеру, сохранилась только отцовская перчатка, правая. Недодоев носил на шее образок, доставшийся от родителей; Берестецкий владел дешевым портсигаром, в котором еще оставались табачные крошки.

«Не было времени, – говаривал Саллюстий и тяжело вздыхал. – Хватали что под руку попадется. Берегите, чада, эти драгоценные предметы, в них – ваша память».

И они берегли. Листопадов – так тот вообще располагал каким-то странным лоскутом, оторванным то ли от платья, то ли от сорочки, и что же: лелеял его, ложился с ним спать и даже, как слышали некоторые, разговаривал.

Среди лицеистов существовал строгий уговор, закон: не трогать собрата в минуты созерцания фамильных реликвий. Этим и воспользовался Швейцер: воспитанники, входившие в спальню, видели, с чем он сидит, и не смели его беспокоить. Он ничего не обдумывал, не строил планов, оставляя все дело на завтра и доверяясь судьбе, ему всего-то и хотелось, чтобы его не тормозили, оставили в покое, он не хотел разговаривать. Как случилось всегда, лицо на снимке вскоре заморозило Швейцера, и от лицеиста остался голый разум, проросший и воплотившийся в глаза, прочее тело исчезло. Он всматривался в фотографию, готовый взглядом прожечь ее насквозь. В какой-то миг ему почудилось, что та уже стала дымиться, но винюваты были слезы, размывавшие контур. Он и в мыслях не допускал, что женщина, изображенная на снимке, могла где-то жить, ходить, произносить слова. Швейцер, несомненно, верил в это, но вера – одно, мысли – совсем другое. И уж всяко не надеялся он встретить ее вонне,

за Оградой, не к ней он собрался. Цели и задачи должны быть реальными, скромными – хотя какая тут скромность.

«А зачем я все это делаю? Может, к черту?.. Неубедительные галлюцинации плюс какие-то важные дела во внешнем мире, до которых ему не должно быть дела. Он не знает такого слова: „стеб“ – что это? Может быть, это не имеет значения, и знание с незнанием тоже обманчивы? И страшно, конечно, тоже. Вот только непонятно, чего больше страшно – собственной наглости или...»

Второе «или» было гораздо хуже. Болезнь, вполне возможно, зашла слишком далеко и стала неизлечимой. А он молчит, рискуя заразить остальных. Где же тут честь? Какое ему мнится самопожертвование? Ведь мнится же, господа, маячит на заднем плане, бездарно приотворяясь героическим горизонтом. Гордыня в крайнем выражении, греховная закваска.

– Куколка, ложитесь, – предупредил его Остудин. – Сейчас пойдут с проверкой.

Не выпуская из рук фотографии, Швейцер разделся и спрятался под одеяло.

Дурак, он опять забыл поговорить с Вустиным. Важна любая мелочь, а Вустин мог умолчать о какой-то детали, которая изменит все. Что мелочь – он даже не спросил про злополучный лаз.

В спальне шептались.

– Я, когда клал ей на талию руку, нарочно провел повыше и дотронулся...

– Стыдитесь! И что она?

– Причем тут стыд? Я же не про вашу даму рассказываю. Она – ничего, словно и не заметила. Начала говорить про погоду, про уроки...

– И не покраснела?

– Да я не посмотрел, волновался очень.

– Вустин! Эй, Вустин!.. Как это вас угораздило повалить даму?

– Отвяжись.

– О-о, господа, ну и хам! Мы с вами брудершафт не пили, Вустин. Откуда такая фамильярность?

– Оставьте его, не видите – он сейчас вспыхнет, как спичка.

– Потушим. Вустин! Вам надо было танцевать с матерью Саломеей.

– Вот! Тогда бы он так просто не встал.

– Господа, живот у всех в порядке? У меня что-то крутит.

– Вы бы больше эклеров ели. Сожрали штук пять! Это из-за вас подвозить пришлось.

– Вам-то что? Вы зато по части напитков... Смотрите, не напрудите в постель.

– Оштрах, киньте подушку, я его...

– Тише вы! Сейчас в карцер пойдете!

– И отлично – Листопадова помучаем.

– Раевский не даст.

– А там нет никакого Раевского. Вустин! Признайтесь – вы все сочинили?

– Ему пригрезилось. Он сохнет по Раевскому.

– Тьфу!

– Да, да! Вустин! Вы оглохли? Вам надо было танцевать с Раевским.

– Лучше сразу с ректором.

– О-о-о! Вот был бы номер!..

– Ага. Руку на талию, голову на грудь...

– Господа, перестаньте! Меня сейчас стошнит.

– Нет, лучше с Саллюстием. Вустин! Здорово-то как: борода в рот лезет, козлом попахивает!

– Полный рот шерсти!

– Ме-е-е!..

– И сразу в альбом – любовную лирику. Потом показать, и сразу пятерка будет. В отличниках будете ходить!

– Заглохните, сволочи, надоели!..

– Что за выражения. Вы что, Вустин – с лакеями говорите?

– Известно, он груб. Он сыграл бы активную партию.

– А ректор – мазо.

– Где вы такого нахватались?

– Не ваше дело. Идеи витают в воздухе, господа. Александр Блок.

– Ваши идеи витают в каком-то своеобразном воздухе.

– Верно. И знаете, где такой воздух?

– Молчите лучше.

– Нет, знаете?

– Молчите, убью!..

– Такими идеями, сударь мой, пахнет в...

Удар подушкой. Еще один. Пыхтение, писк. Луна, прожектор, черное небо.

Часть вторая. Имею честь

1

Наивный Швейцер недалеко ушел в своих колебаниях, он не знал, что в юности чувства склонны господствовать над разумом. Швейцера утвердило в решении событие, которым именно чувства и хотели возбудить – правда, совсем не те.

До солнечного затмения оставалось три часа, и он все еще не знал окончательно, пойдут ли в кухню, заглянет ли за дверь – дальше его фантазия не простиралась. За доводы разума Швейцер принимал обычный страх. Немного отвлекала муштра, которой заведовал отец Коллодий: шел урок строевой подготовки.

Коллодий был человеком небольшого ума: ать-два – вот все, что он знал, не считая скверной игры на скрипке. Имя очень шло ему: нечто аморфное, разбухшее, из коллоидной химии. Такими в старину рисовали прожорливых монахов-католиков: брюхо, гладкие щеки, круглые глазки, тонзура.

– Между шапкой и бровями должен оставаться зазор в два сантиметра, – учил Коллодий. – Пятки вместе, носки врозь! Между носками должна помещаться ступня – не больше и не меньше.

Коллодия не любили. Не удовлетворяясь существующими нормами, он сочинял свои собственные: например, наказал воспитанникам носить при себе ровно по сорок сантиметров туалетной бумаги. И лично проверял, ходил с рулеткой – не дай Бог, где-то выйдет сорок один! Разгильдяй – он и есть разгильдяй, подмога Врагу. Все начинается с малого. Столь же скрупулезно подходил отец Коллодий к вопросам военной терминологии.

– Вам ли не знать, – говаривал он, – что офицеры и солдаты не отдают честь. Честь отдают распущенные девушки. Ну-ка, хором: что отдают офицеры?

И класс отвечал ему хором:

– Воинское приветствие!

В этот день отец Коллодий просто сыпал невнятными намеками и пророчествами, предупрекая близкую гибель Врага.

– На Бога надейся, а сам, как говорится... – Здесь учитель хитро подмигивал. – Есть у нас одна штучка...

И, как бы спохватившись, замолкал.

– Атомная бомба? – спросил кто-то с места.

Коллодий нахмурился, пошел к нахалу, но в этом месте урок был прерван. Распахнулась дверь, и в класс торжественно вошли Савватий, Саллюстий и доктор Мамонтов. На священниках были темные одежды скорби, доктор пришел в колпаке. В руках у ректора была шелковая подушка, на которой лежали ученический ремень, дешевые часы, гребешок и пуговица от мундира.

– Встать! – гаркнул отец Коллодий.

Ректор положил подушку на стол и некоторое время стоял в безмолвии. Потом сверкнул глазами и возвестил:

– Чада! Сегодняшнее утро омрачилось несчастьем, и большое знамение предварило малым. Вещи, которые вы видите перед собой, принадлежали вашему товарищу. Вы понимаете, что я говорю о Раевском, который нынче же будет причислен к мученикам. Вот все, что удалось найти поисковому отряду, который прочесывал окрестные леса в надежде найти и спасти эту заблудшую душу, соблазненную Врагом. Но мы опоздали и даже не знаем, чем кончил несчастный. Пусть случившееся послужит вам уроком. Я прошу почтить павшего лютотой смертью минутой молчания.

Чувствительный отец Саллюстий промокнул глаза, а Коллодий вытянулся и отдал вещам Раевского воинское приветствие. Доктор Мамонтов обводил лицеистов мрачным взглядом, а ректор высился, как несокрушимая глыба в окружении хаоса. Тьма разбивалась об него и разлеталась брызгами, дьявольские тени обтекали стороной; смерть, размахивавшая косой, ломала лезвие за лезвием.

Швейцер мгновенно распознал обман. Спроси его кто – он не сумел бы ответить как. Шестое ли было то чувство или какое-нибудь десятое, но именно оно овладело его рассудком, и лицеист решил. Привычного уклада ему осталось ровно на два с половиной часа, потом – неизвестность. Но кое в ком печальная церемония возбудила совсем другие мысли. Этим человеком неожиданно оказался тихий Листопадов, которого к утру выпустили из каменного мешка, посчитав раскаявшимся и поумневшим. Покуда тянулась траурная минута, он жег глазами растерянного Вустина, стоявшего в соседнем ряду. А после, когда тройка удалась, захватив с собой все, что осталось от Раевского, продолжал сверлить его взглядом. Этого никто не замечал, Коллодий продолжил урок. Наконец наступила перемена; Листопадов улучил момент, подбежал к Вустину и, не говоря ни слова, влепил ему звонкую пощечину.

– Вы лжец, Вустин! – крикнул он, сверкая глазами.

Тот было рванулся дать сдачи, но успел сообразить, что Листопадов вдвое меньше ростом и драться с ним недостойно.

– Я... я... – Вустин покраснел и полез в карман. Он хотел вытащить доказательство: злополучную записку, позабыв, что съел ее, и, не найдя и вспомнив, начал заикаться, а класс, получивший простой и печальный ответ на мучительные вопросы, изготавился к травле.

– Хватит, Вустин! – закричал Оштрах, пробираясь к несчастному. – Мы уже сыты! Что там у вас еще? Новые каракули, сами написали? Дайте сюда!

– Молчите, дураки, – испуганно пробормотал Вустин, видя, что дело дрянь.

В него полетел огрызок яблока. Недодоев, конечно.

– Тише, тише, – напомнил кто-то из лицеистов. – Пойдемте скорее – ангелы поют.

Оштрах демонстративно толкнул Вустина и вышел из класса. Воспитанники, благословляемые хором, потянулись к выходу. Швейцер задержался, намереваясь выйти последним. Его позвал Берестецкий, но тот сделал вид, будто что-то ищет.

– Иду! – крикнул Швейцер, роясь в тетрадах.

Вустин угрюмо отошел от дверей и стоял, прислонившись к стене. Комната опустела; на подошедшего Швейцера он посмотрел с опаской.

Тот быстро схватил парию за локоть и с силой сдвинул.

– Я на вашей стороне, Вустин, – сказал Швейцер быстрым шепотом. – Мне понадобится ваша помощь. Вы справитесь?

Вустин, похожий на заблудившегося слона, кивнул, еще сильнее заливаясь краской.

– Я собираюсь бежать. Это удобнее сделать во время затмения, когда все выйдут во двор. Думаю, что охрана не устоит, ей тоже интересно. Мы спустимся в кухню, и вы запрете за мною дверь, ведущую на склад. Сделаете? Это очень важно. Нельзя, чтобы кто-нибудь догадался, как я ушел.

В душе Вустина происходила борьба. Он еле заметно пожал плечами.

– Ну, решайте быстрее! – яростно прикрикнул Швейцер. – Нас не должны видеть вместе.

– Хорошо, я сделаю, – сказал Вустин.

– Тогда говорите, где лаз. Может быть, мне лучше бежать отсюда.

Маловероятно, после Раевского наверняка законопатили.

– Он – за дверцей у мамонтовского кабинета, под лестницей! – выпалил Вустин. – Где ректор постоянно бывает.

– Тьфу, – с досады Швейцер топнул ногой. – Скажите, какая догадливость! На что мне это... Про ректорскую нору все и так знают. Вы что – только теперь сообразили, что там есть ход за Ограду?

Вустин не посмел обидеться. Швейцер подумал, что он зря оскорбляет сообщника. Но какая тупость!

– Ладно, не берите в расчет, я нервничаю. Ждите, вам будет знак.

Швейцер вторично пожал локоть Вустина и нарочито неспешным шагом вышел из класса. Вовремя: Берестецкий, оставшийся без пары, уже шел его поторопить.

– Вустину никто не подаст руки, – вздохнул Берестецкий. – Придется ему симулировать, бежать в клозет. Скатертью дорога, верно? Там ему самое место.

– Истинно так, – согласился Швейцер. – Как по-вашему, откуда мы будем следить за солнцем?

– Хорошо бы подняться на крышу, – мечтательно заметил тот. – Интересно, как там?

– Да, интересно, – поддакнул Швейцер, думая о подвалах.

2

За полчаса до затмения лицеистам раздали солнцезащитные очки. Началась свалка; многие, надев их, изображали слепцов и горестно выли, когда наталкивались на соседей.

Воспитанников вывели во двор; урок литературы отменили. День выдался на удивление погожий, жаркий. На залитом светом асфальте была видна каждая песчинка. Небо неистовствовало цветом, готовое втянуть в себя землю, и, если бы не зной, многие ощутили бы восторженную тягу к высотам, где все растворяется и успокаивается.

Двор был разбит перед главным входом. Бетонный брусок здания в несколько этажей, с пуленепробиваемыми оконными стеклами, быстро нагревался и строго молчал, готовый с достоинством встретить любой катаклизм. Двери, на случай чего, оставили распахнутыми. На волю, как и думал Швейцер, высыпали все – преподаватели, повара, чернорабочие, мастеровые. Охранники тоже успели надеть очки и сразу приобрели необычно бравый, лихой вид, став похожими на командос из довоенной жизни.

От тайги Лицей отделяла высокая бетонная стена с колючей проволокой, пущенной поверх. Над крышей подрагивал поникший триколор. На территории Лицея не пели птицы; самых крупных, случайных, отстреливала охрана. За стеной, как рассказывали воспитанникам, шел ров с заостренными кольями, а дальше – кольцевидный участок пашни, разровненной граблями. Тайгу было видно только из окон, она казалась шкурой огромного зверя, в которой Лицей становился болезненной проплешиной. Но болен был сам зверь, в его зеленой, а к горизонту – синей шерсти водились смертоносные паразиты. Здоровье оставалось только в плечи – на специально выбритом пятачке, где прививался иммунитет от заразы. А лицеисты были иммунными клетками, готовыми в свой срок метнуться в сосуды зверя и выступить против Врага, который зря торжествовал, хотя и подмял под себя землю и рвался к Небу. Его грязная тень уже наползала на солнечный диск.

Отец Саллюстий вышел вперед. Никто не сомневался, что говорить поручат именно ему. Лицеисты испытывали возбуждение, их тревога усиливалась с каждой секундой. Затмения поминались в многочисленных пророчествах, легендах и просто суеверных байках, однако наступили времена, когда возможно все. Даже в лицах преподавателей проступило некоторое беспокойство. Вскорости очки надели все, так как поминутно бросали на солнце опасливые взгляды. Могло показаться, что Лицей и впрямь собрался проследить за ядерным взрывом, который устраивает неизвестно чья сторона.

Солнце таяло, как масло. Саллюстий кашлянул и воздел руки:

– Склонимся, чада, перед знамением Господа нашего, Заступника и Устроителя. Отбросим страхи, оставим трепет. Мы знаем, что в самом затмении Солнца нет никакого волшебства, однако время, в которое мы можем наблюдать это редкое событие, позволяет нашему немощному разуму прикоснуться к замыслам Создателя. Нам явлен величайший символ, соединяющий в себе прошлое, настоящее и будущее человечества. На несколько минут мир погрузится во тьму: о чем это говорит? О том, что великая Тьма с большой буквы, где мы томимся и стенаем, для Господа – миг. Мгновение – вот срок, который Господь, отмеряя Божественной мерой, дарует Врагу. Высочайшее попустительство недолговечно, светило очистится и вновь воссияет нетронутым и благостным. Вы – первые лучики возрождающегося Солнца. Примите мертвящую тень как испытание веры, и да не угаснут светильники ваших душ. Пусть Враг веселится в гибельном заблуждении, пусть прячутся испуганные безбожники. Солнце спокойно и чисто, и наши молитвы, летящие к нему на крыльях умиления... наши Устроительные подвиги, родственные жертвам... возрадуется священный огонь...

Саллюстия в очередной раз занесло, и видно было, что он вот-вот собьется то ли на почитания бога Ра, то ли вообще превратится в огнепоклонника. В его обращении Солнце занимало все большее места.

– Лучи и свет... жизнетворящий пламень... упование и опора всякого зверя и гада...

Ректор едва заметно поморщился и громко кашлянул. Историк осекся, поправил очки и широко перекрестил лицеистов.

– Не нужно слов, – заявил он бодро. – Будем зрить и наматывать на ус.

В небесах пламенел месяц: Солнце – а с ним и Создатель – унизились до презренной Луны.

Швейцер стоял в последнем ряду, позади всех. Выходя из здания Лицея, он придержал Вустина.

– Когда я нырну в дверь, бегите за мной. Когда побежите – разбейте очки.

– Зачем? – не понял Вустин.

– Вам придется как-то объяснить свой уход. Скажете, что нечаянно разбили и ушли, побоялись ослепнуть.

И Швейцер отодвинулся, не желая, чтобы кто-нибудь видел, с кем он общается.

Но Вустин снова придвинулся к нему:

– А что, если Враг все-таки есть? Не страшно?

Недотепа попал в точку: без пяти минут мятежник гадал, хватит ли у него духу пойти до конца.

– Да нет там Врага, – огрызнулся он на Вустина и вновь отступил.

Над головами лицеистов раздалось шипение: включились динамики. Администрация Лицея сочла своим долгом обеспечить зрелищу музыкальное сопровождение. Музыка, которую выбирал сам ректор, не имела ничего общего с церковными песнопениями. Скорее, это было старомодное «диско» – но стиль разъяснился позднее, когда солнечный диск был почти полностью закрыт; пока же звучала бесконечная увертюра. Повизгивали гитары, рассыпался тарелочный бисер, вздыхал орган. Наконец включился сосредоточенный рокот. Многие лицеисты начали машинально притоптывать. Отец Саллюстий повернулся к ним спиной и воздел руки, обращаясь к дьявольской тени. Однако на колени он не встал, это не предусматривалось. В конце концов, затмение – штука нешуточная, редкая, и мало ли что могло за ним последовать. Нельзя, чтобы кого-то застигли врасплох, в смиренной позиции. Об этом лицеистов много раз предупреждал Коллодий, твердя свою скверную присказку про Бога и про надежду на Него. На все Его воля, но пусть ее испытывает на себе пустоголовый, который не спрятался.

Вустин, нервничая, загодя снял очки и вертел их в руках. Швейцер толкнул его в бок:

– Наденьте, вы что! И вправду ослепнете!

Тот спохватился и вернул очки на место.

– Ох, пропаду я с ним, – пробормотал Швейцер так, чтобы Вустин не услышал. Поздно, уже не переиграешь. На что он рассчитывал? На благодарность и преданность, конечно. Вустин, отвергнутый всеми, кроме Швейцера, готов для него на все. Это читалось во взгляде, в поспешности движений, угодливости осанки. Но эта любовь может быстро закончиться – как только Вустин попадет в ректорские лапы. А значит, Швейцер выгадывал совсем немного – минуту здесь, минуту там. Если ему не удастся за этот срок найти выход на поверхность, то он пропал. Туннель закупорят с обоих концов, прочешут, заполнят дымом – Швейцер почему-то был уверен, что уж до туннеля-то он доберется, хотя последний был всего лишь смутным сном. Добрался же Раевский! Тот шел как-то иначе, но как – не узнать уже никому.

Он поискал взглядом вчерашнего повара: точно – вон он, стоит на отшибе с запрокинутой головой.

«В худшем случае – изображу панический страх, – догадался Швейцер. – Или религиозный ужас? Экстаз?» Он ужаснулся по-настоящему: хула, великий грех, крамола!

Как быстро он разделался с Врагом. Вы слишком торопитесь, сударь.

Динамики рывкнули, собравшиеся вздрогнули, и кто-то ахнул. Несколько человек захлопали в ладоши, чей-то слабый голос выкрикнул «Вау!»

Барабан ритмично отщелкивал остановившееся время, подхрюкивал бас.

На землю упала ночь.

Черный диск, как новый Бог, победно висел в вышине, обрамленный огненной короной. Зубцы содрогались, стараясь попасть в такт; прочая жизнь прекратилась. Солнечный Бог напялил страшную маску – или он ее сбросил?

– Взирайте! – взвизгнул Саллюстий и взмахнул распростертыми руками на манер дирижера.

Небесный оркестр отвечал ему на каких-то секретных частотах. Инфразвук возбуждает ужас – стало быть, это вполне мог оказаться инфразвук.

Ну, все.

Швейцер перекрестился и попятился в дверь.

– Вустин! – прошипел он сквозь зубы.

Безмозглый Вустин неуклюже сорвал очки и бросил их на асфальт. Звон стекла заглушили адские аккорды.

«Болван!» – у Швейцера не было времени браниться. Он уже несли по пустому коридору; сохранился в нем способность замечать и оценивать, он бы понял, каким жутким и жалким сделался Лицей в одночасье. Все ушли в ночь, а стены сочатся кровью в ожидании новых хозяев. Но Швейцеру было не до того. Он вбежал в столовую, жидко освещенную несколькими светильниками. Далеко позади топотал Вустин.

Еще дальше бухала музыка, приветствуя черное солнце. Праздничный мрак наполнялся негритянским ритмом; несотворенный кумир взирает с небес, сверкая свежесмытой гривой и корчась.

Когда Швейцер увидел, что железная дверь не то что не заперта – вчерашнего замка нет вообще, и лишь засов задвинут, смешная предосторожность, – когда он все это увидел, то осознал, что в душе надеялся совсем на другое. Но теперь, когда он уже рассказал Вустину, отступать было некуда. Швейцер присел на корточки и спрятался за плитой.

В столовую влетел Вустин с зажатыми в кулак очками. Он остановился и начал тревожно осматриваться, ища Швейцера.

– Сюда!

Голова на миг вынырнула из-за плиты. Вустин бросился в кухню.

– Видите – вон она, дверь. – Швейцер, не вставая, указал пальцем. «Пальцем показывать неприлично», – вспомнил он некстати.

Вустин кивнул, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Он жалел, что ввязался, и хотел, чтобы все поскорее закончилось.

– Я отодвину засов, вы его задвинете, и все.

– Ну так давайте же!

– Что?

Швейцер распрямился и слепо посмотрел на Вустина. Ступор продолжался недолго, взгляд ожил, Швейцер протянул сообщнику руку:

– Прощайте, Вустин. Мы в любом случае больше не увидимся. Это-то вы понимаете?

Тот снова кивнул и вдруг затрясся, едва дотронувшись до его пальцев.

– Успокойтесь! Не вам же бежать.

Швейцер подкрался к двери, потянул засов. Железяка скользнула, как в масле. Дверь бесшумно отошла, складдохнул на Швейцера мясным морозом. С потолка свисали говяжьи туши, еле слышно гудели холодильники.

Он оглянулся в последний раз. Вустин стоял в проеме и ждал команды.

– Закрывайте! – Швейцер приметил еще одну дверь, совершенно гладкую – без замков, засовов и замочных скважин. И так, он либо пройдет, либо – нет.

– Вы поберегитесь, – прошептал Вустин, налег на дверь, и беглец очутился в полумраке. Из рта вырвалось облачко пара.

– Хороший совет. – Огибая туши, Швейцер поспешил к своей цели.

Дверь не подалась.

«Проклятье!» Он отчаянно оглянулся, ища ломик или что-то, чем можно было ее поддеть. Нет, ломик тут не пойдет. Тут какая-то автоматика, электричество. Сколько прошло времени? Затмение, должно быть, уже на исходе, если не закончилось вообще. Сейчас в кухню явится куча народа. Ну, так он и знал. Смешные надежды, безумные планы.

Не отдавая отчета в своих поступках, Швейцер ухватился за рычаг рубильника и дернул вниз. Наитие, не иначе. Свет погас, и не только на складе: мрак окутал столовую и прилегавший коридор. Но дверь тихо хрюкнула и приоткрылась. Перед тем как проскользнуть внутрь, Швейцер вернул рычаг в прежнее положение. Затем он прыгнул в темноту, одновременно потянув дверь обратно. Шалости света – мало ли что случилось. Решат, что виновато затмение, атмосферные выверты, электрические перепады... Бог с ним со всем, теперь – вперед!..

Швейцер чуть не упал, он стоял на второй верхней ступеньке каменной лестницы, которая вела неизвестно куда.

Он спустился, держась за стену, и скоро оказался на ровной площадке. Внезапно вспыхнул свет: перед Швейцером была странная комнатка-конурка, почти что ящик. На левой стенке ящика были стальные кнопки, с потолка светила круглая лампа.

Швейцер никогда не видел лифта, только слышал о нем.

Он шагнул внутрь, и створки сомкнулись.

3

Отец Савватий вошел в кабинет без стука. Доктор Мамонтов озабоченно хлопал по руке Вустина, оголенной по локоть. Плечо Вустина было перетянута жгутом.

– Он не мог далеко уйти, – заявил ректор, словно они с доктором были одни.

– Юноша уже все осознал, – мрачно усмехнулся Мамонтов, выбирая шприц. – Клянется, будто ничего не знает. Боится, что мозги разрежу.

Савватий выпятил бороду и шагнул к полумертвому от ужаса Вустину.

– Может быть, он что-то забыл, – сказал он с фальшивым сочувствием, по-прежнему обращаясь к одному доктору. – Может быть, Враг научил его ложному понятию о чести.

– Поможем, – пробормотал Мамонтов, наполняя шприц. – Сейчас он все вспомнит и все расскажет. И мы останемся друзьями. Верно я говорю?

Он обмакнул ватку в спирт, протер кожу.

– Худо ему не станет? – Ректор нахмурился, а Вустин ухватился за его вопрос, как за соломинку: еще не все потеряно, о нем беспокоятся, а значит – оставят в живых. С чего он вообще взял, что здесь убивают?

Но последняя гипотеза, к вящему удивлению Вустина, показалась ему правильной сразу, как только пришла в его голову. Более того – такое предположение каким-то волшебным образом ставило все на места, вот только Вустин не мог понять, что именно и куда.

– Не особенно, – успокоил ректора доктор. – Просто начнет болтать всякую чушь. А заодно и не чушь.

Савватий беспомощно рыкнул, рванул крест и заходил по кабинету.

– Прошло два часа, – он разговаривал сам с собой. – Их видели вместе во время затмения. Даже если допустить, что этот мерзавец все два часа бежал без остановки, то... Десять километров? Пятнадцать?.. Или он где-то притаился и ждет? Что он тебе рассказывал, сученыш? – Ректор не выдержал и вцепился Вустину в волосы. – Куда он пошел?

Здоровенный Вустин закричал, как подстреленный заяц.

– А, тварь! – Савватий брезгливо оттолкнул его голову. – Давайте быстрее, доктор.

– Я все сказал! – Вустин дернулся, и Мамонтов попал мимо вены. Он легонько шлепнул воспитанника по щеке, и тот судорожно вздохнул.

Вторая попытка оказалась успешной. Доктор распустил жгут и медленно ввел раствор, окрасившийся красным и черным. Вустин откинулся на спинку кресла и стеклянными глазами уставился в потолок.

– Ну, что? – Ректор склонился, ловя каждый его вздох.

– Обождите немного, не все сразу. – Мамонтов стянул перчатки и швырнул их в таз. Потом он раздвинул и без того распахнутые веки Вустина, заглянул в зрачки. – Скоро начнется. – Доктор вытряхнул из пачки сигарету и закурил, чего никогда не позволял себе в смотровом кабинете. И вообще нигде не позволял – во всяком случае, на виду у лицеистов.

Лицо Вустина расплзлось в глупой улыбке.

– Гы! – таким же глупым был и смешок. – Моем-моем трубочиста... щетка, знаете, вся стерлась, мастика налипла... Подлецы! Я покажу им... Я видел его, видел!

– Кого? – быстро шагнул к нему Савватий.

Вустин раздвоился, одна его часть отвечала на вопросы из внешнего мира, другая молала чепуху. Это было настоящее веселье, только немного мутное.

– Раевского. Поповское брюхо с крестом, и бумажка упала... Я думаю, что Враг все-таки есть, правда? С чего им врать? Подлецы, подлецы... Этого Листопадова я прижму в умывалке, форшмак приготовлю... Разбей очки – ну, я и разбил. Еще недоволен был чем-то. А я ему не сторож, нашел на подхват... Барышня оскорбилась, но я всего-то поскользнулся. Я с вами не буду танцевать, господин ректор. Честное слово, не бойтесь!

– А это не вредно для него? – снова забеспокоился отец Савватий.

– Ерунда! – Мамонтов махнул рукой и улыбнулся. – Это нестойкое соединение, быстро выводится с мочой.

Савватий склонился над Вустиным, сунув бороду прямо в лицо:

– Куда пошел господин Швейцер? Он говорил тебе что-нибудь?

Вустин начал петь какую-то песню, но тут же сбился на другое:

– Вражья записка, которую... нет, она не вражья, Раевский уронил, Саллюстий наступил... Сыплются бомбы, падает снег...

– О чем ты говоришь? Где эта записка?

Вустин неуклюже потянулся к карману, но руки его были прикручены к креслу. Мамонтов залез ему в карман двумя пальцами и ничего не нашел.

– Вот же сволочь, – проскрежетал зубами Савватий. – Ведь он, крысеныш, чистый брак в работе. А мнение имеет!

– Обучение логическому мышлению, – покачал головой Мамонтов. – А я ведь предупреждал, что весь этот колледж когда-нибудь выйдет боком. То ли дело залить формалином...

– Я тут ничего не решаю, – огрызнулся ректор.

– Ну, так скоро будете возить их на экскурсии, в Москву, – безжалостно сказал доктор Мамонтов. Он даже внешне изменился: черная челка упала на глаз, обнажились зубы, обычная ирония превратилась в смертельный, не разбирающий правых и виноватых яд.

Вустин тяжело дышал и сидел уже молча, с закатившимися белками.

– Вы схлтурили с вашим Раевским, – продолжал доктор. – Слишком уж вы беспечны. Надо было обставить процедуру как-то иначе... а что в итоге? Наведались с причиндалами, пустили слезу, брякнули металлом в беспомощном блеянии... И тут же – событие, почти праздник! Затмения они, видишь ли, не видели! Как же не поглазеть!

– Хватит. – Савватий задрал рясу и расстегнул пуговицу на полосатых брюках: ему передалось и вспучило живот смутное представление о съеденной записке. – Концерт окончен? Или это у вас сеансом называется?

– Да окончен, идите. – Мамонтов похлопал Вустина по щеке. – С ним точно решено?

– Точно, – буркнул ректор. – Когда б не побег, можно было бы считать, что все сложилось удачно. Комплексная заявка, факс пришел утром. Я хотел пристроить Берестецкого, но раз уж так вышло... на ловца и зверь бежит. Правда, придется втемную, без Устроения. Недостойн Господа, глупая чурка.

– Так я позабавлюсь?

– Сколько хотите, лишь бы его удар не хватил.

– Никаких ударов. Есть данные, что немного адреналина способствует... общей биохимии, – настроение доктора Мамонтова улучшалось на глазах. Он знал, что лично ему побег не грозил ничем, это – головная боль администрации.

Отец Савватий кашлянул, харкнул в плевательницу и грузно протиснулся в дверь. Доктор присел перед Вустиным на корточки, пощупал пульс. Удовлетворившись, засвистал и стал готовить новый раствор. Пациента требовалось усыпить, и усыпить надежно. Но перед сном ему расскажут страшную сказку, какой он наверняка не слыхивал от папы-мамы. Ничего особенного! – доктор весело вскинул брови. Как же он мог от них что-то слышать, если те ничего ему не рассказывали?

Вустин засопел и дернулся. Мамонтов знал, что у него должна болеть голова и пересохнуть горло. Он разболтал в мензурке сладкий сироп и поднес к губам пациента. Вустин очнулся и испуганно огляделся. Он выпил болтушку, но продолжал молчать.

Не смеет, молодец.

– Доброе утро. – Голос Мамонтова был вкрадчив. Доктор весь дрожал, предвкушая восторг откровения. – Что же ты натворил, голубчик?

«Ты» неприятно резало слух. Виноватый Вустин попытался пожать плечами.

– Как ты думаешь, что теперь с тобой будет? За организацию побега?

– Устроение, – одними губами молвил Вустин, проговариваясь и показывая, что истинный смысл церемонии был подсознательно понятен воспитанникам.

– Дурачок, – улыбнулся Мамонтов. Лицеист с ужасом отметил, что зрачки доктора странным образом порыжели. – Но ты, как ни удивительно, прав. Господь, разумеется, не может избрать своим членом такого мерзавца. Однако выход всегда есть: вместо Господа мы устроим кого-нибудь другого.

Вустин молчал.

Мамонтов провел пальцами по его лицу.

– Сегодня пришла заявка, по факсу. Не знаешь, что такое факс? Ну, тебе ни к чему. Нужен органокомплекс. Печень, обе почки, кожа, метра четыре кишок. Какая-то шишка по пьяному делу угодила в аварию. Дело, полагаю,дохлое – там наверняка нужны и мозги, а с твоими мозгами далеко не уедешь. Но мы и их вынем. Не понимаешь?

Ответа не было.

– Золотой Фонд нации, – ответил за него доктор Мамонтов. – Именно так. Банк органов. Вас, понимаешь ли, выращивают в колбе, разводят. А после учат, натаскивают – зачем, как по-твоему? Затем, что это хоть и стоит бешеных денег, но заморозить вас еще дороже. Такой парадокс. Да и благородное воспитание облагораживает ваши внутренние органы. Мы не знаем почему. Аристократизм – не пустой звук, он тесно связан с тщательной селекцией. Танцы, с-сука, астрохлюндия... Вот вас и дрессируют, развивают кору... Враг там, понимаешь, мамы-папы, реликвии... А этих семейных реликвий на помойке набрали, для легенды. Фотку матушки твоего приятеля я, например, притащил сам. Валялась у меня без пользы. Знаешь, какая это шкура была? Мы с ней однажды... Что?

– Пупок, – пробормотал Вустин.

– Что – пупок?

– Я родился. У меня есть пупок.

– Ну, пупок. И что с того? На одном конце – ты. А на другом кто?

Вустин ничего не сказал.

– Я думал, ты тормоз, – запоздало удивился Мамонтов. – Как это ты быстро про пупок спросил!..

– Вы все врете, – проговорил Вустин и дернулся.

– Я вру? – Доктор распрямился и весело посмотрел на него. – Хочешь, телевизор покажу? Мы сейчас кое-куда отправимся, я тебе покажу новости. Сегодня в мире. Москву посмотришь... Думаешь, там дьяволы с рогами в Кремле засели? Вовсе нет, Бог миловал. Жизнь кипит... заготконтора!

Вустин вдруг заорал во все горло, и Мамонтов быстро закрыл ему рот ладонью.

– Знаешь, почему я здесь? – сказал он с ненавистью. – Потому что на дух не переношу таких. Я даже выступал за всякие там запреты... Блевать от вас тянет, понимаешь? Я сам такой. Из вашего племени. Мне знаешь сколько лет? Они у меня вот где. – Он сперва хотел провести ребром ладони по горлу, но тут же, раздираемый разнонаправленными чувствами, соорудил кулак. Потряс им. – Боятся они меня! Много знаю. Меня оставили: свой лучше разберется в ваших потрохах... Но я никогда не был бараном вроде вас. А сейчас, урод, ты познакомишься с самой что ни на есть новейшей историей...

Не отнимая руки, он сунул другую в карман халата, вынул пластырь.

– Только пикни! Скормлю собакам...

Мамонтов крестом залепил Вустину губы, приготовил наручники и начал разматывать бинты, крепившие кисти к ручкам кресла.

...Покуда он бесновался, отец Савватий влетел в уже известную секретную комнату. Он вынул сотовый телефон и позвонил попечителю Браго. Труба внимательно выслушала последние известия и тон, в котором она ответила, овеществился в виде испарины, проступившей на ректорском лбу.

– Послушайте, – говорил попечитель Браго ровным и спокойным голосом. – У вас было все. Меня не интересуют никакие альтернативные варианты. Вы и ваши сотрудники плюете в колодец, кусаете дающую руку. Воображаю ваши смешочки: у богатых своих причуды! Так вот: вы правы, я богатый. И у меня есть причуда. Я долго кормил и содержал вас, не требуя ничего взамен. В кои веки раз я обратился к вам с личной просьбой. Мне нужен именно этот. На вас уходят сумасшедшие деньги, ваше малейшее самодурство...

«Ну, с самодурством – это не к нам, – сказал про себя ректор. – Дорогая заморозка – пусть так, я не спорю, но вся эта божественная комедия с балами и латынью – плод вашего, господа, извращенного воображения. Платим, гуляем, желаем первого сорту!»

Вслух он ничего такого не сказал, а ответил:

– Не волнуйтесь, почтеннейший. Он далеко не уйдет.

– Тогда к чему эта паника? Зачем вы вообще мне звоните, если ситуация под контролем? Бойтесь, что доберется до журналистов?

– Нет, этого я не боюсь. На станцию посланы люди. Ближайшие населенные пункты прочесываются. – Савватий соврал. Администрация Лицея давным-давно разворовала средства, отпущенные на кадровые нужды. – И журналистов в них нет. Я боюсь только, как бы с ним чего не случилось. Тайга здесь – одно лишь название, вы понимаете, но он же ни черта не соображает, лютик оранжерейный. Напорется на сук...

– Вот и постарайтесь, чтоб не напоролся! Обрубите все сучья! Может быть, вам денюжат подкинуть на топоры?

Савватий отнял трубу от уха и уставился на нее бешеным взглядом.

Немного успокоившись, он примирительно сказал:

– Добро, извините меня. Конечно, я зря позвонил. Все будет хорошо, господин попечитель.

На том конце отключились.

Ректор перевел дух, налил себе из первой попавшейся бутылки, выпил. Затем вызвал повара.

– Устроение – великая вещь, голубчик, – начал он, когда хмурый усач переступил порог. – Господь не брезгует натурпродуктами. Намек понятен? Почему вы не запираете двери, идиот проклятый?..

Но думал отец Савватий совсем не о поваре, повар – формальность. Ему не давала покоя железная дорога. Возможно, он опоздал с отправкой людей. До сих пор им везло, и редких беглецов заносило в другую сторону. Однако удача – госпожа с характером.

4

Швейцер ждал, что туннель окажется длиною в несколько верст и будет даже не туннелем, а каким-нибудь хитрым лабиринтом. Думал он и о монстрах, которые питали слабость к темным подземельям. Эти смутные картины сочетались в его сознании с пулеметной стрельбой, цепкими лучами прожекторов и воем сирен – так, что он уже не знал, что хуже: монстры или те, кто пустится за ним в погоню.

Действительность оказалась иной, все развивалось очень быстро. Действия, на которые Швейцер отводил себе если не часы, то уж всяко десятки минут, заняли минуту-другую. Он, разумеется, не ушел далеко и выскочил у самой Ограды, но – по другую ее сторону.

Лифт опустил его в сухой и теплый подвал. Двери разошлись; Швейцер выскочил в предбанник и дико посмотрел сперва налево, затем направо. Насчет туннеля он не ошибся: в обе стороны разбегались тусклые рельсы; справа виднелась вагонетка, почти терявшаяся в темноте. К стенам крепились толстые шланги и разноцветные провода. По потолку тянулась цепочка лампочек; пахло резиной и какой-то сложной машинной химией. Прямо перед вагонеткой Швейцер разглядел тонкую железную лестницу, уходившую вверх. Туннель был пуст, однако слева Швейцер приметил стеклянный футляр: сторожевую будку. Внутри смутно виднелась панель с незнакомыми приборами. Горящая зеленая лампочка подтверждала его опасения, что охранник отлучился взглянуть на небесную драму и скоро вернется. Швейцер думал недолго, он выбрал лестницу. Она наверняка вела в какой-нибудь люк, который открывался

либо в сам Лицей, либо на волю. Пан или пропал, в первом случае можно было затаиться вверху и выждать, во втором же...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.